

821
4-36



ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

ПЕРВЫЙ
УЧИТЕЛЬ

А

84
MA A36

ЧИНИГИЗ АЙТМАТОВ

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ПЕРУССКИХ ШКОЛ

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

НОВЕЛЛА

Теплов

26172-2

M

с купеческого



Бусуни Х. Тездоғовога



«ДЕТСКАЯ ИНТЕРПАТУРА»

1988

03

Перевод автора и А. Дмитриевой

Имя народного писателя Киргизии, Героя Социалистического Труда Чингиза Айтматовича широко известно советскому читателю. Его произведения переведены на многие языки мира. Чингиз Айтматов родился в 1928 году в Таласской долине, в кишлаке Шекёр.

Ещё будучи студентом Киргизского сельскохозяйственного института, в 1952 году Айтматов печатает свой первый рассказ «Газетчик Дзюйдю» и с тех пор продолжает свою литературную деятельность. Он пишет рассказы, повести, переводит на русский язык произведения киргизских писателей.

В 1956 году Чингиз Айтматов поступает на Высшие литературные курсы в Москве и в 1958 году оканчивает их. В этом же году выходит в свет его первый повесть «Джамия», сразу же завоевавшая искреннюю любовь и признания читателей. Французский писатель Луи Арагон назвал «Джамия» «слабой прерисной на свете повестью о любви».

В 1963 году Айтматов был удостоен Ленинской премии за книгу «Повести тор и степей», в которую вошли «Джамия», «Тополёк мой в красной косинке», «Верблюдский глаз», «Первый учитель». В 1968 году за повесть «Прощай, Гугльвары!», в 1977 году за повести и киноленту «Белый пароход», в 1983 году за роман «И дольше века длится день» ему были присуждены Государственные премии СССР.



Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в эту ды и наброски начатой мною картины. Их много, и много раз начинал всё заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашёл ещё своего главного, того, что приходит вдруг так неотвратимо, с такой нарастающей ясностью и необъяснимым, неуловимым звучанием в душе, как эти ранние летние зори. Я хожу в предрасветной тиши и всё думаю, думаю, думаю... И так каждый раз. И каждый раз и убеждаюсь в том, что мой картина — ещё только замысел.

Я не сторонник того, чтобы заранее говорить и оповещать даже близких друзей о незаконченной вещи. Не потому, что я слишком ревниво отношусь к своей работе, — просто, мне думается, трудно угадать, каким вырастет ребёнок, который сегодня ещё в люльке. Так же трудно судить и о незавершённом, невыписанном произведении. Но на этот раз я изменю своему правилу — я хочу во всеуслы-

А 4803010200—466 387—88
М101(03)-88

ISBN 5—08—000940—3

шание заявить, а вернее, поделиться с людьми своими мыслями о ещё не написанной картине.

Это не прихоть. Я не могу поступить иначе, потому что чувствую — мне одному это не по плечу. История, всколыхнувшая мне душу, история, побудившая меня взяться за кисть, кажется мне настолько огромной, что я один не могу её объять. Я боюсь не донести, я боюсь расплескать полную чашу. Я хочу, чтобы люди помогли мне советом, подсказали решение, чтобы они хотя бы мысленно стали со мной рядом у мольберта, чтобы они волновались вместе со мной.

Не пожалейте жара своих сердец, подойдите поближе, я обязан рассказать эту историю...

*

Наш айл Куркереу расположен в предгорьях на широком плато, куда сбегаются из многих ущелий шумливые горные речки. Понизже айла раскинулась жёлтая долина, огромная казакская степь, окаймлённая отрогами черных гор да тёмной черточкой железной дороги, уходящей за горизонт на запад через равнину.

А над айлом на бутре стоят два больших тополя. Я помню их с тех пор, как помню себя. С какой стороны ни подвёдешь к нашему Куркереу, прежде всего увидишь эти два тополя,

они всегда на виду, точно маяки на горе. Даже и не знаю, чем объяснить, — то ли потому, что впечатление детских лет особенно дорожишь ловёку, то ли это связано с моей профессией художника, — но каждый раз, когда я, сойдя с поезда, еду через степь к себе в айл, я первым делом издали ищу глазами родные мой тополя.

Как бы высоки они ни были, вряд ли так уж сразу можно увидеть их на таком расстоянии, но для меня они всегда ощутимы, всегда видны.

Сколько раз мне приходилось возвращаться в Куркереу из дальних краёв, и всегда с немой тоской я думал: «Скоро ли увижу их, тополей-близнецов? Скорей бы приехать в айл, скорей на бутор к тополём. А потом стоять под деревьями и долго, до упоения слушать шум листьев».

В нашем айле сколько угодно всяких деревьев, но эти тополя особенные — у них свой особый язык и, должно быть, свой особая, певучая душа. Когда ни придёшь сюда, днём ли, ночью ли, они раскачиваются, переклёстываясь ветвями и листьями, шумят неутомно на разные лады. То кажется, будто тихая волна прилива плещется о песок, то пробежит по ветвям, словно незримый огонёк, страстный, горячий шепот, то вдруг, на мгновенье штихнув, тополя разом, всей взбудораженной листвою шумно вздохнут, будто тоскуя о ком-то. А когда набегает грозовая туча и буря,

загáлмывая вѣтви, обрываетъ листьѹ, тополѹ, уп-
рѹто раскáчиваясь, гудятъ, какъ бушующее
плáмя.

Пóзже, много летъ спустя, я по́нял тайну
двухъ тополѣй. Онѣ сто́ятъ на возвышенности,
открытой всемъ вѣтрамъ, и отзываются на ма-
лейшее движеніе вóздуха, кажды́й листикъ
чутко улавливаетъ легчайшее дуновѣніе.

Но открытіе этой простой истины во́све не
разочаровало меня, не лиши́ло того́ дѣтскаго
воспри́ятія, которое я сохраняю по сей день.
И по сей день э́ти два тополя на бутрѣ ка́жутся
мне необыкновенными, живыми. Тамъ, подле
нихъ, оста́лось моё дѣтство, какъ осколокъ зеле-
ного волшебнаго стѣклышка...

В послѣдній день учёбы, передъ началомъ
лѣтних канікулъ, мы, мальчишки, мчались сю-
да разорвать птичьи гнѣзда. Всякій разъ, когда
мы с гиканьемъ и свистомъ вбѣгали на бутóръ,
тополѣ-великаны, покачиваясь изъ стороны́ в
сторону́, в́роде бы приветствовали насъ своей
прохладной тѣнью и ласковымъ шѣлестомъ ли-
ствевъ. А мы, босонóгие сорванцы, подсаживая
другъ друга, карабкались вверхъ по сучьямъ и
вѣткамъ, поднимая переполохъ в птичьемъ цар-
ствѣ. Ста́и встревоженныхъ птицъ с крикомъ но-
сѣлись надъ нами. Но намъ всё было нипочёмъ,
куда́ тамъ! Мы взбирались всё выше и вы́-
ше — а ну, кто смелѣе и ловчѣе! — и вдругъ с
огромной высоты, с высотъ птичьего полёта,
точно бы по волшебству, открывался передъ
нами́ дивный миръ простора и свѣта.



Затаивъ дыханіе мы замирали кажды́й на своей
вѣткѣ и забывали о гнѣздахъ и птицахъ.

Нас поража́ло вели́чие земли. Затаи́в ды́хание мы замира́ли ка́ждый на своёй вѣткѣ и забыва́ли о гнёздах и пти́цах. Колхо́зная коню́шня, ко́торую мы счита́ли са́мым боль́шим зда́нием на све́те, отсю́да каза́лась нам обы́кновенным са́райчиком. А за а́йлом те́рлась в сму́тном ма́реве распро́стертая цели́нная степь. Мы всма́тривались в её си́зые да́ли наско́лько хвата́л гла́з и ви́дели ещё мно́го-мно́го земёль, о ко́торых пре́жде не подозрева́ли, ви́дели ре́ки, о ко́торых пре́жде не ве́дали. Ре́ки серебри́лись на горизонте то́ненькими нито́чками. Мы ду́мали, прита́йвшись на вѣтках: э́то ли край све́та и́ли да́льше есть такое же не́бо, та́кие же тучи, степи и ре́ки? Мы слу́шали, прита́йвшись на вѣтках, неземны́е зву́ки ветро́в, а ли́стья в отве́тъ им дру́жно напе́тывали о замáнчивых, зага́дочных кра́ях, что скрыва́лись за си́зыми да́лями.

Я слу́шал шум тополе́й, и се́рдце у меня́ колотилось от стра́ха и ра́дости, и под э́тот неумо́лчный шёле́ст я си́лился предста́вить себѣ те да́лѣкые да́ли. Ли́шь об однё́м, ока́зывается, я не ду́мал в ту по́ру: кто посади́л здесь э́ти дере́вья? О чём мечта́л э́тот неизвѣстны́й, опу́ска́я в зёмлю ко́рни дере́вцев, с ка́кой наде́ждой расти́л он их здесь, на взго́рьях?

Э́тот бу́тор, где сто́яли тополе́й, у нас по́чему-то называ́ли «шко́лой Дюйше́на». По́мню, е́сли случáлось кому́ иска́ть пропа́вшую ло́шадь и челове́къ обраща́лся к встре́чному:

«Слу́шай, не ви́дел ты моего́ гнедо́го?» — ему́ чи́ще всего́ отвеча́ли: «Вон наверху́, во́зле шко́лы Дюйше́на, пасли́сь но́чью ко́ни, сходи́, мо́жет, и своего́ там найдёшь». Подража́я изро́сльм, мы, мальчи́шки, не задумы́ваясь, повто́ряли: «Айда́, ребя́та, в шко́лу Дюйше́на, на тополе́й, воро́бьев разгоня́ть!»

Рассказа́вали, что ко́гда-то на э́том бу́трѣ была́ шко́ла. Мы и следа́ её не заста́ли. В де́тстве я не раз пыта́лся найти́ хотя́ бы разва́лины, бро́дил, иска́л, но ниче́го не обнару́жил. По́том мне ста́ло каза́ться стра́нным, что го́лыи бу́тор называ́ют «шко́лой Дюйше́на», и я как-то спроси́л у ста́риков, кто он та́кой, э́тот Дюйше́н. Оди́н из них небре́жно махну́л руко́й: «Кто та́кой Дюйше́н! Да тот са́мый, что и сейча́с тут жи́вет, из ро́да Хромо́й овецъ. Давно́ э́то бы́ло, Дюйше́н в ту по́ру комсомо́льцем был. На бу́трѣ том сто́ял че́й-то забро́шенный са́рай. А Дюйше́н там шко́лу откры́л, дете́й учи́л. Да ра́зве же то шко́ла была́ — назва́ние одно́! Ох и интере́сные же време́на бы́ли! Тогда́ кто мог схвати́ться за гри́ву ко́ня и ве́дет но́гу в стре́мя, тот сам себѣ нача́льник. Так и Дюйше́н. Что возбу́ло ему́ в го́лову, то и сде́лал. А тепе́рь и ка́мешка не найдёшь от того́ са́райчика, одна́ по́льза, что назва́ние оста́лось...»

Я ма́ло зна́л Дюйше́на. По́мнится, э́то был пожи́лой уже́ челове́к, высо́кий, углу́бова́тый, с нависши́ми орли́ными бровя́ми. Его́ дво́р был по ту сто́рону ре́ки, на у́лице второ́й брига́ды.

Когда я ещё жил в айле, Дюйшён работал колхозным мирабом¹ и вечно пропадал на полях. Изредка он проезжал по нашей улице, подвывая к седлу большой кетмень², и конь его был похож чем-то на хозяйина — такой же костлявый, тонконогий. А потом Дюйшён постарел, и говорили, что он стал возить почту. Но это к слову. Дело в другом. В моём тогдашнем понятии комсомолец — это горячий на работу и на слово джигит, самый боевой из всех в айле, который и на собраниях выступит, и в газете о лодырях и расхитителях напишет. И я никак не мог себе представить, что этот бородатый смиренный человек был когда-то комсомольцем, да к тому же, что самое удивительное, учил детей, будучи сам малограмотным. Нет, не укладывалось такое у меня в голову! Откровенно говоря, я считал, что это одна из многочисленных сказок, которые бытуют в нашем айле. Но всё оказалось совсем не так...

Прошлой осенью я получил из айла телеграмму. Земляки приглашали меня на торжественное открытие новой школы, которую колхоз построил своими силами. Я сразу решил ехать. Не мог же я в такой радостный день для нашего айла усидеть дома! Я выехал даже на несколько дней раньше. Поброжу,

¹ Мираб — лицо, ведающее оросительной системой.

² Кетмень — сельскохозяйственное орудие типа мотыги.

думал, погляжу, сделаю новые зарисовки. Из приглашённых ждали, оказывается, и академика Сулайманову. Мне сказали, что она побудет здесь день-два и отсюда поедет в Москву.

Я знал, что эта прославленная теперь женщина в детстве ушла из нашего айла в город. Став горожанином, я познакомился с ней. Она была уже в преклонном возрасте, полная, с густой проседью в гладко зачёсанных волосах. Наша знаменитая землячка заведовала кафедрой в университете, читала лекции по философии, работала в академии, часто ездила за границу. Словом, человеком она была зажиточным, и мне не удавалось познакомиться с ней поближе, но каждый раз, где бы мы ни встречались, она всегда интересовалась жизнью нашего айла и непременно, пусть даже коротко, высказывала мнение о моих работах. Однажды я решил сказать ей:

— Алтынай Сулаймановна, хорошо бы вам съездить в айл, повидаться с земляками. Вас там все знают, гордятся вами, но знают-то больше понаслышке и, случается, поговаривают, что, мол, наша знаменитая учёная, видно, чурается нас, дорогу позабыла в свой Куреу.

— Надо бы, конечно, съездить, — невесело улынулась тогда Алтынай Сулаймановна. — Я и сама давно мечтаю побывать в Куреу, век уж не была там. Правда, родственников у меня в айле нет. Но дело ведь не

в этом. Непременно поеду, я должна поехать, истосковалась по родным краям.

...Академик Сулайманова приехала в айл, когда торжественное собрание в школе вот-вот должно уже было начаться. Колхозники увидали в окно её машину, и все повалили на улицу. Знакомым и незнакомым, старым и малым — всем хотелось пожать ей руку. Пожала, Алтынай Сулаймановна не ожидала такой встречи и, как мне показалось, даже растерялась. Приложив руки к груди, она кланялась людям и с трудом пробиралась впереди на сцену.

Наверно, не раз на своём веку Алтынай Сулаймановна бывала на торжественных собраниях, и встречали её, наверно, всегда и с радостью, и с почестями, но здесь, в обыкновенной сельской школе, радушие земляков очень растрогало её, возволновало, и она всё пыталась скрыть непрощённые слёзы.

После торжественной части пионеры повзали дорогой госте красны галстук, преподнесли цветы и её именем открыли почётную книгу новой школы. Потом был концерт школьной самостоятельности — очень интересный и весёлый, после которого директор школы пригласил нас — гостей, учителей и активистов колхоза — к себе.

И здесь не могли наравдоваться приёзду Алтынай Сулаймановны. Её посадили на самое почётное место, украшенное коврами, и всячески старались подчеркнуть своё к ней

уважение. Как всегда в таких случаях, было шумно, гости оживлённо разговаривали, провозглашали тосты. Но вот в дом вошёл местный паренёк и подал хозяйину пачку телеграмм. Телеграммы пошли по рукам: бывшие ученики поздравляли своих земляков с открытием школы.

— Слушай, а телеграммы эти старик Дюйшен привёз, что ли? — спросил директор.

— Да, — ответил парень. — Всю дорогу, горит, подстигивал коня, хотел поспеть к собранию, чтобы при народе прочитали. Опоздал малость наш аксакал, огорчённый приехал.

— Так что ж он там стоит, пусть слезает с коня, зови его!

Парень вышел позвать Дюйшэна. Алтынай Сулаймановна, сидевшая рядом со мной, почему-то встрепелась и как-то странно, слово в внезапно вспоминая о чём-то, спросила у меня, о каком это Дюйшэне говорят.

— А это колхозный почтальон, Алтынай Сулаймановна. Вы знаете старика Дюйшэна?

Она неопределённо кивнула, потом попыталась было встать, но в этот момент мимо окна кто-то с топотом проехал на коне, и парень, вернувшись назад, сказал хозяйину:

— Я его звал, агай, но он уехал, ему ещё надо письма развозить.

¹ Агай — почтительное обращение к старшему (буквально: старший брат).

— Ну и пусть развѣзят, незначе его задерживать. Потѣм со стариками посидѣтъ, — недовѣльно проговорилъ кто-то.

— О-о! Вы не знаете нашего Дюйшенѣ! Он человекъ законѣна. Пока дѣла не выполнитъ, никуда не завернѣтъ.

— Вѣрно, странный он человекъ. Послѣ войны вышелъ изъ госпиталѣ — на Украинѣ это было — и остѣлся тамъ жить, всего летъ пять какъ вернулѣся. Умирѣтъ, говорѣтъ, вернулѣся на родину. Всю жизньъ бобылѣмъ такъ и живѣтъ...

— А все-таки зайтѣ бы ему сейчѣас... Ну да ладно. — И хозяйинъ махнулъ рукойъ.

— Товарищи, когда-то мы учились, если кто помнитъ, в школѣ Дюйшенѣ. — Одинъ изъ почтеннейшихъ людѣй айла подѣнялъ бокалъ. — А самъ-то онъ на вернякъ не зналъ всехъ буквъ алфавита. — Говорившій зажимулъ при этомъ глаза и показѣлъ головой. Весь видъ его выражалъ и удивленіе и насмѣшку.

— А вѣдь и правда, было такъ, — отозвался нѣсколько голосѣвъ.

Кругѣмъ засмѣялись.

— Что ужъ тамъ говорить! Чего толькѣ не затѣвалъ тогда Дюйшенѣ! А мы-то вѣдь всерьѣз считали его учителемъ.

Когда смѣхъ утихъ, человекъ, подѣнявшій бокалъ, продолжалъ:

— Ну, а тепѣрь люди выросли на нашихъ глазахъ. Академикъ Алтынѣй извѣстѣна на всю страну. Почти все мы со среднимъ образованіемъ, а многіе имѣютъ высшее. Сегодня мы

открыли у себя в айлѣ новую среднюю школу; одно это уже говоритъ, насколько изменилась жизньъ. Такъ давайѣте, земляки, выпьемъ за то, чтобы и впредѣ сыновья и дочери Куркуреу были передовыми людьми своего времени!

Все опѣтъ зашумѣли, дружно поддерживая, и толькѣ Алтынѣй Сулаймановѣна потѣст, и краснѣла, чемъ-то очень смущенная, и лишь пригубила бокалъ. Но празднично настроенные люди, занятые разговорами, не замѣчали еѣ состоянія.

Алтынѣй Сулаймановѣна нѣсколько разъ изглянула на часы. А потѣм, когда гости вышли на улицу, я увидѣлъ, что она стоитъ в сторонѣ отъ всехъ у арѣйка и пристально смѣотритъ на бутѣръ — туда, гдѣ покачиваются на ветру порывѣвшие осенние тополя. Солнце было на закатѣ — у сиреневой черточкѣ далѣкой отъ мерной стѣпи. Оно светило оттуда мѣркнувшимъ свѣтомъ, окрашивая верхушки тополѣй тусклымъ, печальнымъ багрянцемъ.

Я подошелъ къ Алтынѣй Сулаймановѣне. — Сейчѣасъ онѣ листьву роняютъ, а посмотрѣли бы вы на этѣ тополя весной, в пору цвѣта, — сказалъ я ей.

— И я об этомъ же думаю, — вздохнулъ Алтынѣй Сулаймановѣна и, помолчавъ, добавила, словѣно бы про себя: — Да, у всего живѣого есть своя весна и своя осень.

По еѣ увѣдающему, со мнѣжествомъ мелкихъ морщинокъ вокругъ глазъ лицу пробѣжала грустная, задумчивая тѣнь. Она смѣотрѣла на тополя

26172-2

26172-2

8839



как-то очень по-женски горестно. И я вдруг увидел, что передо мной стоит не академик Сулайманова, а самая обыкновенная киргизская женщина, бесхитростная и в радостях и в печалах. Эта учёная женщина, видимо, вспомнила сейчас ту пору своей юности, когда, как поётся в наших песнях, не докричавшись с самой высокой горной вершины. Она, кажется, хотела что-то сказать, глядя на тополя, но потом, наверно, передумала и порывисто надёла очки, которые держала в руке.

— Московский поезд здесь проходит, как жетса, в одиннадцать?

— Да, в одиннадцать ночи.

— Значит, мне надо собираться.

— Почему вдруг? Алтынай Сулаймановна, вы же обещали побыть здесь несколько дней. Народ вас не отпустит.

— Нет, у меня срочные дела. Я должна сейчас же ехать.

Как ни уговаривали её земляки, как ни выражали они свою обиду, Алтынай Сулаймановна была неумолима.

Тем временем стало смеркаться. Огорчённые земляки посадили её в машину, взяв с собой, что она приедет в другой раз на неделю, а то и больше. Я поехал проводить Алтынай Сулаймановну до станции.

Почему Алтынай Сулаймановна так неожиданно заторопилась? Обидеть земляков, тем более в такой день, мне казалось просто неразумным. По дороге я несколько раз со-

бирался спросить её об этом, но не посмёл. Не потому, что боялся показаться бестактным, — просто я понял, что она всё равно ничего не скажет. Всю дорогу она ехала молча, о чём-то крепко задумавшись.

На станции я всё-таки спросил её:

— Алтынай Сулаймановна, вы чём-то расстроены, может, мы обидели вас?

— Ну что вы! И не смейте так думать! На кого я могла обидеться? Разве что на себя. Да, на себя можно было, пожалуй, обидеться.

Так и уехала Алтынай Сулаймановна. Я вернулся в город и через несколько дней неожиданно получил от неё письмо. Сообщая о том, что она задержится в Москве дольше, чем предполагала, Алтынай Сулаймановна писала:

«Хотя у меня множество важных и срочных дел, я решила всё отложить и написать вам это письмо... Если вам покажется интересным то, что я здесь пишу, я вас убедительно прошу подумать над тем, как это можно будет использовать, чтобы повредить людям обо всём, что я расскажу. Я считаю, что это нужно не только нашим землякам, — это нужно всем, в особенности молодёжи. К такому убеждению я пришла после долгих раздумий. Это мой исповедь перед людьми. Я должна исполнить свой долг. Чем больше людей узнает об этом, тем меньше будут мучить меня угрызения совести. Не бойтесь поставить меня

в нелѣвное положѣние. Ничего не скрывайте...»

Нѣсколько дней я ходил под впечатлѣнием ея письма. И ничего лучшаго не придумал, как рассказать обо всем от имени самой Алтынай Сулаймановны.

*

Это было в 1924 году. Да, именно в тот год...

Там, где сейчас находится наш колхоз, тогда был небольшой айл оседлых бедняков — джатакчей. Мне в ту пору было лет четырнадцать, и жила я у двоюродного брата своего покойного отца. Матери у меня тоже не было.

Еще осенью, вскоре после того как те, что побогаче, откочевали в горы на зимовья, к нам в айл пришёл незнакомый парень в солдатской шинели. Я запомнила его шинель, потому что она была почему-то из чёрного сукна. Появление человека в казённой шинели явилось для нашего айла, отдалённого от дорог, приткнувшегося где-то под горами, настоящим событием. Сперва утверждали, что в армии он ходил в командирах, а потому и в айле будет начальником, потом оказалось, что вовсе он никакой не командир, а сын того самого Таштанбека, который ушёл из айла на железнодорожную дорогу ещё в год, много лет назад, да так и пропал. А он, сын его Дюйшён, будто прислан в айл для того, чтобы

открыть здесь школу и учить детей.

В те времена такие слова, как «школа», «учёба», были в новинку, и люди не очень-то в них разбирались. Кто-то верил слухам, кто-то считал всё это бабыми сплетнями, и, быть может, вообще забыли бы о школе, если бы вскоре не создали народ на сходку. Мой дядя долго ворчал: «Это ещё что за собрание такое, вечно отрывают от дела по всяким пустякам», — но потом всё-таки оседлал свою лошадинку и поехал на собрание верхом, как и положено всякому уважающему себя мужчине. Вслед за ним вместе с соседскими ребятами увязалась и я.

Когда мы, запыхавшись, прибежали на пригорок, где обычно проходили сходки, там уже перед кучкой пёших и конных людей выступал тот самый бледнолицый парень в чёрной шинели. Мы не могли расслышать его слов и придвинулись было ближе, но тут один старик в драной шубе, словно очнувшись, толпиво перебил его.

— Слушай, сынёк, — начал он заикающейся скороговоркой, — раньше детей учили мullahы, а твоего отца мы знали: такая же голытьба, как и мы. Так скажи на милость, когда это ты успел сделаться мullahом?

— Я не мullah, аксакал, я комсомолец, — быстро отзывался Дюйшён. — А детей теперь будут учить не мullahы, а учителя. Я обучался грамоте в армии и до этого малость учился. Вот какой я мullah.

— Ну, это дело...

— Молодцы! — раздался одобрителные
возгласы.

— Так вот, комсомол послал меня учить
ваших детей. А для этого нам нужно какое-
нибудь помещение. Я думаю устроить шко-
лу — с вашей помощью, конечно, — вон в той
старой конюшне, что стоит на бугре. Что ска-
жете на это, земляки?

Люди замаялись, как бы прикидывая в уме:
куда он гнёт, этот пришлый? Молчание пре-
рвал Сатымкул-спортик, прозванный так за
своей неговорчивость. Он давно уже прислу-
шивался к разговору, облокотясь на локоть сед-
ла, и изредка поглядывал сквозь зубы.

— Ты постой, парень, — проговорил Са-
тымкул, прищуривая глаз, словно бы прице-
ливаясь. — Ты лучше скажи, зачем она нам,
школа?

— Как — зачем? — растерялся Дюйшен.

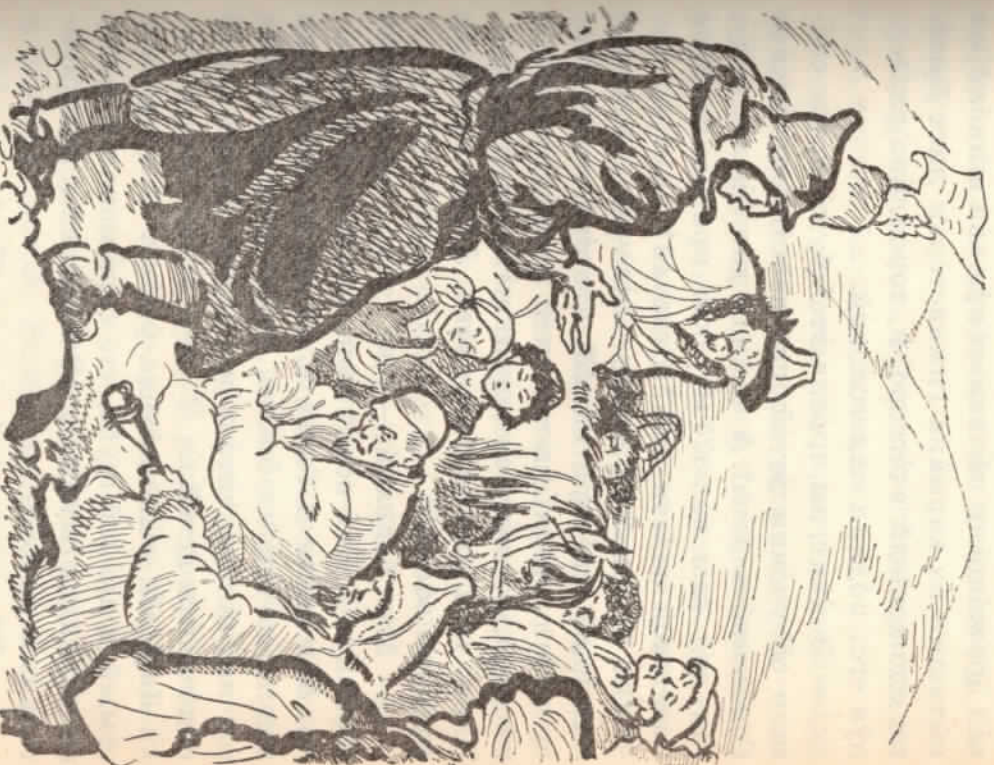
— А верно ведь! — подхватил кто-то из
толпы.

И все разом зашевелились, зашумели.

— Мы испокон веков живём дехканским
трудом, нас кетмень кормит. И дети наши
будут жить так же, на что им учение. Грамота
начальникам требуется, а мы простой народ.

Голоса притихли.

— Так неужели вы против того, чтобы ва-
ши дети учились? — спросил ошарашенный
Дюйшен, пристально вглядываясь в лица ок-
руживших его людей.



— Значит, вы против этой бумажки, где сказано
об учении детей?..

— А если против, то что, силком заставишь? Прошли те времена. Мы теперь народ свободный, как хотим, так и будем жить!

Кровь схлынула с лица Дюйшенена. Обрывая дрожжащими пальцами кружки шинели, он вытащил из кармана гимнастёрки лист бумаги, сложенный вчетверо, и, торопливо развернув его, поднял над головой.

— Значит, вы против этой бумаги, где сказано об учении детей, где поставлена печать Советской власти? А кто вам дал землю, воду, кто дал вам волю? Ну, кто против законов Советской власти, кто? Отвечай!

Он выкрикнул слово «отвечай» с такой звенящей, гневной силой, что оно, как пуля, прорезало теплынь осенней тиши и, словно выстрел, отозвалось коротким эхом в скалах. Никто не проронил ни слова. Люди молчали, понурив головы.

— Мы бедняки, — уже тихо проговорил Дюйшенен. — Нас всю жизнь топтали и унижали. Мы жили в темноте. А теперь Советская власть хочет, чтобы мы увидели свет, чтобы мы научились читать и писать. А для этого надо учить детей.

Дюйшенен выжидающе умолк. И тогда тот самый, в драной шубе, что спрашивал его, как он сделается муллой, пробормотал примирительным тоном:

— Ладно уж, учи, если тебе охота, нам-то что... Мы не против закона.

— Но я прошу вас помочь мне. Нам надо

отремонтировать эту байскую конюшню на горе, надо перекинуть мост через речку, дрова нужны школе...

— Погоди, джигит, очень уж ты прыткий! — оборвал Дюйшенена неговорчивый Сатымкул.

Слыгнув сквозь зубы, он опять прищурил глаз, словно бы прицеливаясь.

— Вот ты на весь айл кричишь: «Школу буду открывать!» А поглядеть на тебя — ни шубы на тебе, ни коня под тобой, ни земляцы вспаханной в поле, хоть бы с ладонь, ни единой скотинки во дворе! Так как же ты думаешь жить, дорогой человек! Разве что чужие табуны утонать... Только у нас их нет. А у кого табуны есть — те в горах.

Дюйшенен хотел ответить что-то резкое, но сдержал себя и негромко сказал:

— Проживу как-нибудь. Жалованье буду получать.

— А-а, давно бы так! — И Сатымкул, очень довольный собой, с победоносным видом выпрямился в седле. — Вот теперь всё ясно. Ты, джигит, сам делай свои дела и на своё жалованье детей учи. В казне денег хватит. А нас оставь в покое, у нас, слава богу, своих забот полон рот...

С этими словами Сатымкул повернул коня и поехал домой. Вслед за ним потянулись и другие. А Дюйшенен так и остался стоять, держа в руке свою бумагу. Он, бедняга, не знал, куда ему теперь податься...

Мне стало жалъ Дюйшенъ. Я смотрѣла на него не отрывая глаз, пока мой дядя, проезжая мимо, не окликнул меня:

— А ты, косматая, что тут дѣлаешь, что рот разинула, а ну, бегй домой! (И я кинулась догонять ребятъ.) Ишь ты, и они уже повѣдись на сходыки!

На другой день, когда мы, девчонки, пошли по воду, нам встрѣтились у реки Дюйшенъ. Он перебирался вброд на другой берег с лопатой, кетменём, топором и каким-то старым ведром в рукахъ.

С этого дня каждое утро одинокая фигура Дюйшена в черной шинели поднималась по тропинке на бутор к заброшенной конюшне. И лишь поздно вечером Дюйшен спускался вниз, к айлу. Частенько мы его видели с болящей вязанкой курая или соломы на спинѣ. Заметив его издали, люди приветствовали на степенях и, приложив руку к глазам, удивленно переговаривались:

— Слушай, да это, никак, учитель Дюйшен несёт вязанку?

— Он самый.

— Эх, бедняга! Учительское дѣло тоже, видно, не из лёгких.

— А ты как думал? Гляди, сколько прѣт на себѣ, не хуже, чем байский батракъ.

— А послушаешь его речи, так куда там! — Ну, это потому, что бумага у него с печатью: в ней вся сила.

Как-то раз, возвращаясь с полными меш-

ками кизяка, который обычно собирали в предгорьях над айлом, мы завернули к школѣ: интересно было посмотреть, что там дѣлает учитель. Старый глинобитный сарай прежде был байской конюшней. Зимой здесь держали кобыл, ожеребившихся в ненастье. После прихода Советской власти бай куда-то откочевал, а конюшня так и осталась стоять. Никто сюда не ходил, а всё вокруг поросло репьем да колосками. Теперь сорняки, выросленные с корнем, лежали в сторонѣ, собранные в кучу, двор был расчищен. Обвалившись, размытые дождями стѣны были подмозаны глиной, а скособоченная, рассохшаяся дверь, вечно болтавшаяся на одной петле, оказалась починенной и прилаженной на мѣсто.

Когда мы опустили свой мешки на землю, чтобы немного отдохнуть, из дверей вышел Дюйшен, весь залпанный глиной. Увидев нас, он удивился, а потом приветливо улыбнулся, стирая с лица потъ.

— Откуда это вы, девочки?

Мы сидѣли на землѣ подлѣ мешков и смущенно переглядывались. Дюйшен поинял, что мы молчим от застенчивости, и ободряюще подмигнул намъ.

— Мешки-то больше вас самихъ. Очень хорошѣ, девочки, что заглянули сюда, вам ведь здѣсь учиться. А школа ваша, можно сказать, почти готова. Только что сложил в углу что-то вроде пѣчки и даже трубу вывел над крышей, видите какая! Теперь осталось топлива на зи-

му заготовить, да ничегó — кура́я мно́го вокру́т. А на́ пол постели́м побольше соло́мы и начнём учёбу. Ну как, хоти́те учи́ться, бу́дете ходи́ть в шко́лу?

Я была́ ста́рше своихъ подру́г и поэ́тому реши́лась отве́тить.

— Если тётка отпу́стит, бу́ду ходи́ть, — сказа́ла я.

— Ну поче́му же не отпу́стит, отпу́стит, коне́чно. А как тебѣ звать?

— Алты́най, — отве́тила я, прикрыва́я ладо́нько коле́но, видне́вшееся сквозь ды́ру на подо́ле.

— Алты́най — хоро́шее и́мя. — Он улыбу́лся ка́к-то хоро́шо, что на се́рдце потепле́ло. — Ты чья бу́дешь?

Я промолча́ла: не люби́ла, когда́ меня́ жале́ли.

— Сирота́ она́, у дяди́ живёт, — подсказа́ли подру́ги.

— Так вот, Алты́най, — сно́ва улыбу́лся мне Дюйше́н, — ты и други́х ребятъ ве́ди в шко́лу. Ла́дно? И вы, де́вочки, приходи́те.

— Ла́дно, дяденька.

— Меня́ учи́телем зови́те. А хоти́те посмотре́ть шко́лу? Заходи́те, не робе́йте.

— Нет, мы пойдём, нам на́до домо́й, — застенча́лись мы.

— Ну хоро́шо, бе́гите домо́й. Посмо́трите пото́м, когда́ приде́те учи́ться. А я ещё разо́к схожу́ за кура́ем, пока́ не стемне́ло.

Прихвати́в верёвку и серп, Дюйше́н поше́л

в по́ле. Мы то́же подня́лись, взвали́ли на спи́ны мешки́ и засе́менили к ай́лу. Мне вду́рг пришла́ в го́лову неожиданная мы́сль.

— Сто́йте, де́вочки! — крикну́ла я своимъ подру́гам. — Дава́йте вы́сыпем кизя́ки в шко́ле — всё бо́льше то́плива на́ зиму бу́дет.

— А домо́й приде́м с пусты́ми рука́ми? Ишь ты, у́мная кака́я!

— Да мы верне́мся и насо́бирæм ещё.

— Нет уж, по́здно бу́дет, до́ма зару́гают.

Не ожида́я меня́, де́вочки заторопи́лись домо́й.

До сих пор не могу́ пони́ть, что заста́вило меня́ в тот день реши́ться на такое де́ло. То ли я обиде́лась на подру́г за то, что не послу́шались меня́, и поэ́тому реши́ла насто́ять на своём, то ли оттого́, что с ма́лых лет моё во́ля, моё жела́ния бы́ли захоро́нены под о́криками и подзаты́льниками гру́бых люде́й, но мне вду́рг захоте́лось хоть че́м-нибу́дь отблагодари́ть незнако́мого, в су́щности, челове́ка за его́ улы́бку, от кото́рой потепле́ло на се́рдце, за его́ небо́льшее дове́рие ко мне, за его́ не́сколько до́брых слов. И я хоро́шо зна́ю, я убежде́на в э́том, что насто́йшая судьба́ моёя, вся моёя жизнь со все́ми её ра́достями и му́ками нача́лась и́менно в тот день, с того́ са́мого мешка́ кизя́ка. Я гово́рю так, поэ́тому что и́менно в тот день я в пе́рвый раз за всю свою́ жизнь, не задумыва́ясь, не бо́ясь наказа́ния, реши́ла и сде́лала то, что посчита́ла ну́жным. Когда́ по-дру́жки поки́нули меня́, я бе́гом верну́лась



к школе Дюйшенá, опорожни́ла мешо́к под двёрью и тут же пусти́лась со всех ног по лощина́м и ба́лкам предго́рья собирать кизя́к.

Я бежа́ла, не ду́мая куда́, сло́вно бы от избы́тка сил, и се́рдце моё бы́лось в груди́ так ра́достно, сло́вно бы я соверши́ла велича́йший по́дви́г. И со́лнце сло́вно бы зна́ло, отче́го я так сча́стлива. Да, я ве́рю, что оно́ зна́ло, поче́му я так ле́гко и во́льно бе́гу. Потому́ что я сде́лала ма́ленькое до́брое де́ло.

Со́лнце уже́ склоня́лось к холма́м, но оно́, каза́лось мне, ме́длило, не скрыва́лось, оно́ хоте́ло нагладе́ться на меня́. Оно́ украша́ло мою́ доро́гу: пожухлая осе́нняя землё́ стели́лась под нога́ми в багря́ных, ро́зовых и лило́вых кра́сках. Мерца́ющим пла́менем проно́сились по сторо́нам метёлки сухих чийняко́в. Со́лнце горе́ло огнём на посеребе́ренных пу́то-

вицах моего́ испещрё́нного запла́тами бешме́та. А я всё бежа́ла впе́ред, мы́сленно обра́щаясь к землѐ, к не́бу и ве́тру: «Смотрите́ на меня́! Смотрите́, ка́кая я го́рда! Я бу́ду учи́ться, я пойду́ в шко́лу и пове́ду за собо́й дру́гих!...»

Не зна́ю, до́лго ли я так бежа́ла, но пото́м вдруг опомни́лась: на́до собрать кизя́к. И вот стра́нность ка́кая: всё ле́то здесь бродя́ло сто́лько скота́ и сто́лько здесь кизя́ка было́ всегда́ на ка́ждом шагу́, а сейча́с его́ то́чно землё́ проглоты́ла. А мо́жет, я про́сто не иска́ла? Я перебе́гала с ме́ста на ме́сто и чем да́льше, тем ре́же находи́ла кизя́к. Тогда́ я подумала́, что не успе́ю за́светло набра́ть по́лный мешо́к, и переку́талась, и замета́лась по ку́стам чия́, заторопи́лась. Набра́ла кое-ка́к полмешка́. Тем вре́менем у́гас за́ка́т, в лощи́нах ста́ло бы́стро темне́ть.

Нико́гда ещё́ не остава́лась я одна́ в по́ле в такую́ по́зднюю пору́. Над безло́дными, безмо́лвными холма́ми нависло́ чѐрное крыло́ но́чи. Не по́мня себя́ от стра́ха, я переки́нула мешо́к за плечо́ и бро́силась бежа́ть к айлу́. Мне бы́ло жу́тко, быть мо́жет, я да́же закры́чала бы, запла́кала, но меня́ уде́рживала от э́того, как ни стра́нно, безотче́тная мы́сль о том, что сказа́л бы учи́тель Дюйшен, е́сли бы уви́дел меня́ тако́й беспомо́щной. И я крепи́лась, запре́щая себе́ ли́шний раз огляну́ться, то́чно бы учи́тель наблю́дал за мной со сторо́ны.

Я прибежала домой запыхавшись, в поту и пыли. Тяжело дыша, переступила порог. Тётка, сидевшая у огня, угрожающе поднялась мне навстрёчу. Она была злая и грубая женщина.

— Ты где это пропадала? — подступила она ко мне, и я слова не успела вымолвить, как она выхватила у меня мешок и швырнула его в сторону. — И это всё, что ты собрала за весь день?

Подружки мой, оказывается, успели ей насплётничать.

— Ах ты черномазая тварь! Что тебя несло в школу? Почему ты не подохла там, в этой школе! — Тётка схватила меня за ухо и принялась колотить по голове. — Сирота потанай! Волчонок никогда не станет собакой. У людей дети в дом тащат, а она — из дома. Я тебе покажу школу, посмей только близко подойти. Ты у меня попомнишь школу...

Я молчала, я только старалась не кричать. Но потом, приглядывая за огнём в очаге, я плакала беззвучно, укрывшись, тихо поглаживая нашу серую кошку, а кошка, между прочим, всегда знала, когда я плачу, и прыгала ко мне на колени. Я плакала не от теткинских поборов, нет, — к ним мне было не привыкать, — я плакала потому, что поняла: тётка ни за что не пустит меня в школу...

Дня через два после этого ранним утром в айле беспокойно задышали собаки, послышались громкие голоса. Оказывается, это Дюй-

шён ходил по дворам, собирая детей в школу. Тогда не было улиц, подслеповатые серые мазанки наши были беспорядочно разбросаны по айлу, каждый селлся там, где ему заблагорассудится. Дюйшён и с ним ребятишки шумной гурьбой переходили от двора к двору.

Наш двор стоял с самого края. Мы с тёткой как раз рúшили просо в деревянной ступе, а дядя откапывал пшеницу, хранившуюся в яме возле сарая: он собирался везти зерно на базар. Мы, как молотобойцы, поочередно ударяли тяжёлыми пестами, но я ещё успевала укривкой глянуть, далеко ли учитель. Я боялась, что он не дойдёт до нашего двора. И хотя я знала, что тётка не отпустит меня в школу, всё-таки мне хотелось, чтобы Дюйшён пришёл сюда, чтобы он хотя бы увидел, где я живу. И я молила про себя учителя, чтобы он не повернул обратно, не дойдя до нас.

— Здравствуйте, хозяйка, да поможет вам бог! А бог не поможет, так мы всем гуртом поможем, смотрите, сколько нас! — шуткой приветствовал тётку Дюйшён, ведя за собой бóдущих учеников.

Она что-то промывчала в ответ, а дядя — тот даже головы из ямы не поднял.

Это не смутило Дюйшёна. Он деловито опустился на кобóду, что лежала посреди двора, достал карандаш и бумагу.

— Сегодня мы начинаем учёбу в школе. Сколько лет вашей дочери?

Ничего не ответив, тётка со злостью всадила пест в ступу. Она явно не собиралась поддерживать разговор. Я вытренне вся съжилась: что же будет теперь? Дюшён глянул на меня и улыбнулся. И, как в тот раз, у меня потеплело на сердце.

— Алтынай, сколько тебе лет? — спросил он.

Я не посмела ответить.

— А зачем тебе знать, что ты за проверщик такой! — раздражённо отозвалась тётка. — Ей не до учёбы! Не такие безродные, а те, что с отцом да с матерью, и то не учатся. Ты вон набрал себе ораву и гоня их в школу, а тут тебе делать нечего.

Дюшён вскочил с места.

— Подумайте, что вы говорите! Разве она виновата в своём сиротстве? Или есть такой закон, чтобы сироты не учились?

— А мне дела нет до твоих законов! У меня свой закон, и ты мне не указывай!

— Законы у нас одни. И если эта девочка вам не нужна, то нам она нужна, Советской власти нужна. А пойдёте против нас, так и укажем!

— Да откуда ты взялся, начальник такой! — вызывающе подбоченилась тётка. — Кто же, по-твоему, должен распоряжаться ею? Я её кормлю и пою или ты, сын бродяги и сам скиталец?!

Кто знает, чем бы всё это кончилось, если бы в этот момент не показавшись из-за голый

по пояс дядя. Он терпеть не мог, когда жена лезла не в свои дела, забывшая, что в доме есть муж, хозяин. Он нещадно бил её за это. И в этот раз, видно, закипела в нём злость.

— Эй, баба! — гёркнул он, выбираясь из-за двери. — С каких это пор ты стала головой в доме, с каких это пор ты стала распоряжаться? Поменьше болтай, побольше делай. А ты, сын Таштанбека, забирай девочку, хочешь — учи, хочешь — изжарь её. А ну, убирайся со двора!

— Ах так, она будет шлёться по школам, а дома, а по хозяйству кто? Всё, я? — заголосила было тётка.

Но муж цыкнул на неё:

— Сказано — всё!

Нет худа без добра. Вот как суждено мне было пойти первый раз в школу.

С этого дня каждое утро Дюшён собирал нас по двору.

Когда мы в первый раз пришли в школу, учитель усадил нас на разбеганную по полу солому и дал каждому по тетрадке, по карандашу и по дощечке.

— Дощечки положите на колени, чтобы удобнее было писать, — объяснил Дюшён.

Потом он показал на портрет русского человека, приклеенный к стене.

— Это Ленин! — сказал он.

На всю жизнь запомнила я этот портрет. Впоследствии он мне почему-то больше не встречался, и про себя я называю его «дюй-

шэновским». На том портрете Лёнин был в несколько меньковатом военном френче, осунувшийся, с отросшей бородой. Раненая рука его висела на повязке, из-под кепки, сдвинутый на затылок, спокойно смотрели внимательные глаза. Их мяткий, согревающий взгляд, казалось, говорил нам: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» Мне казалось в ту тихую минуту, что он и в самом деле думал о моём будущем.

Судя по всему, у Дюйшэна давно хранился этот портрет, опечатанный на простой, плакатной бумаге, — он потёрся на стыбах, края его обтрепались. Но, кроме этого портрета, больше ничего в школьных четырёх стенах не было.

— Я научу вас, дети, читать и считать, покажу, как пишутся буквы и цифры, — говорил Дюйшэн. — Буду учить вас всему, что знаю сам...

И действительно, он учил нас всему, что знал сам, проявляя при этом удивительное терпение. Склоняясь над каждым учеником, он показывал, как нужно держать карандаш, а потом с увлечением объяснял нам непонятные слова.

Думаю я сейчас об этом и диву даюсь: как этот малограмотный парень, сам с трудом читавший по слогам, не имевший под рукой ни единого учебника, даже самого обыкновенного букваря, как он мог отважиться на такое поистине великое дело! Шутка ли учить детей,

чьи деды и прадеды до седьмого колена были неграмотны. И конечно же, Дюйшэн не имел ни малейшего представления о программах и методике преподавания. Вернее всего, он и не подозревал о существовании таких вещей.

Дюйшэн учил нас так, как умел, как мог, как казалось ему нужным, что называется, по наитию. Но я больше чем убеждена, что его чистосердечный энтузиазм, с которым он взялся за дело, не пропадал даром.

Сам того не ведая, он совершил подвиг. Да, это был подвиг, потому что в те дни нам, киргизским детям, нигде не бывавшим за пределами айла, в школе, если можно так назвать ту самую мазанку с зияющими щелями, через которые всегда были видны снежные вершины гор, вдруг открылся новый, неслыханный и невиданный прежде мир...

Именно тогда мы узнали, что город Москва, где живёт Лёнин, во много-много раз больше, чем Аулие-Ата, чем даже Ташкент, и что есть на свете моря большие-большие, как Таласская долина, и что по тем морям плавают корабли, громадные, как горы. Мы узнали о том, что керосин, который привозят с базара, добывается из-под земли. И мы уже тогда твёрдо верили, что, когда народ заживёт побогаче, наша школа будет помещаться в большом белом доме с большими окнами и что ученики там будут сидеть за столами.

Кое-как постигнув азы, ещё не умея написать «мама», «папа», мы уже вывели на

бумаге: «Лéнин». Наш политический словарь состоял из таких понятий, как «бай», «батрак», «Советы». А через год Дюйшён обещал научить нас писать слово «революция».

Слушая Дюйшёна, мы мысленно сражались вместе с ним на фронтах с белыми. А о Лёнине он расказывал так взволнованно, словно видел его своими глазами. Многие из того, что он говорил, как я теперь понимаю, было сложенными в народе сказаниями о великом вождё, но для нас, Дюйшёновых учеников, всё это представлялось такой же истиной, как то, что молоко белое. Однажды без всякой задней мысли мы спросили:

— Учитель, а вы с Лёниным за руку здоровались?

И тогда наш учитель сокрушённо покачал головой:

— Нет, дёти, я никогда не видел Лёнина. Он виновато вздохнул — ему было неловко перед нами. В конце каждого месяца Дюйшён отправлялся по своим делам в волюсть¹. Он ходил туда пенком и возвращался через два-три дня.

Мы по-настоящему тосковали в эти дни. Будь у меня родной брат, я и его, пожалуй, не ждала бы с таким нетерпением, как ждала возвращения Дюйшёна. Тайком, чтобы не заметила тётка, я то и дело выбегала на заборы и подолгу глядела в степь на дорогу:

¹ Волюсть — район.

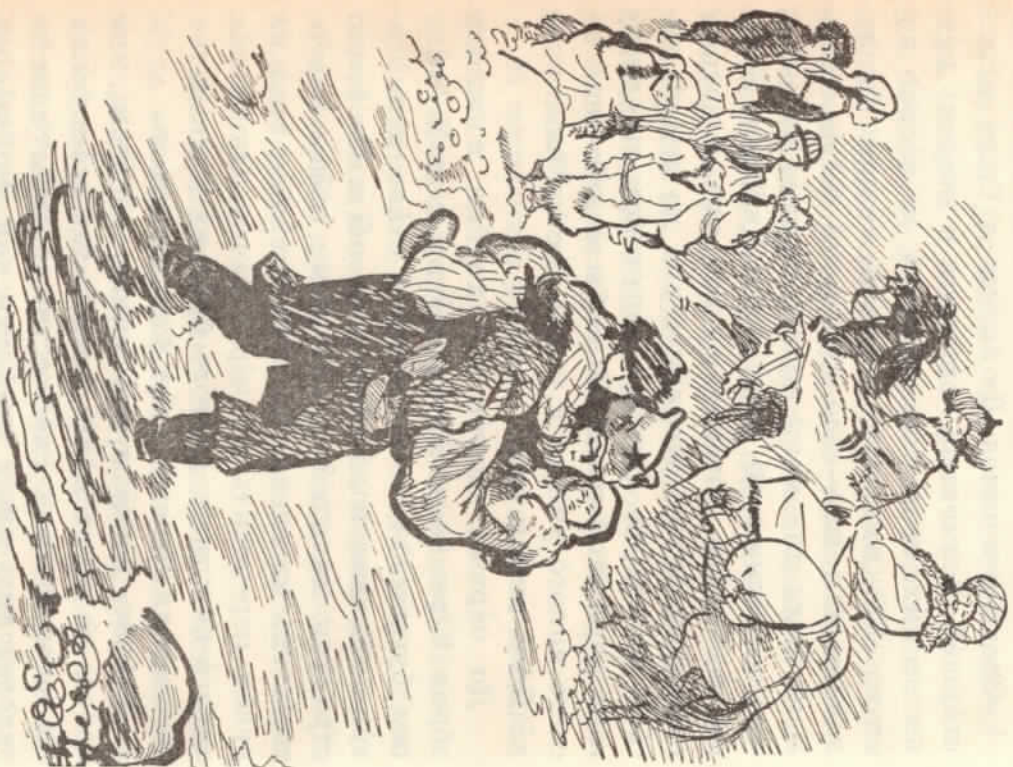
когда же покажется учитель с котомкой за спиной, когда же я увижу его улыбку, согревающую сердце, когда же услышу его слова, приносящие знание.

Среди учеников Дюйшёна я была самой старшей. Возможно, поэтому я и училась лучше других, хотя, мне кажется, не только поэтому. Каждое слово учителя, каждая буква, показанная им, — всё для меня было свято. И не было для меня ничего важнее на свете, чем постигнуть то, чему учил Дюйшён. Я бергла тетрадь, которую он дал мне, и потому выводила буквы остриём серпа на земле, писала углем на дубах, прутиком на снегу и на дорожной пыли. И не было для меня на свете никого учёнее и умнее Дюйшёна.

Дело шло к зиме.

До первых снегов мы ходили в школу вброд через каменистую речку, что шумела под бутром. А потом ходить стало невозможно — ледяная вода обжигала ноги. Особенно страдали малыши, у них даже слёзы навертывались на глаза. И тогда Дюйшён стал на руках переносить их через речку. Он сажал одного на спину, другого брал на руки и так по очереди переправлял всех учеников.

Сейчас, когда я вспоминаю об этом, мне просто не верится, что именно так всё и было. Но тогда то ли по невежеству своему, то ли по недомыслию люди смеялись над Дюйшёном. Особенно богачи, что зимовали в горах и приезжали сюда только на мельницу. Сколько



Дюйшён стал на руках переносить малышён
через речку.

раз, поравнявшись с нами у брёда, таращили
оні на Дюйшёна глазами, проезжая мимо в сво-
их красных лисьих малахях и в богатых
овчинных шубах, на сытых диких конях. Исто-
нибудь из них, прыскавая со смеху, подталкивал
соседа:

— Гляди-ка, одного тащит на спине, дру-
гого на руках!

И тогда другой, подстёгивая храпящего ко-
ня, добавлял:

— Эх, провалиться мне сквозь землю, не
знал я раньше, вот кого надо было взять во
вторые жёны!

И, обдавая нас брызгами и комыями грязи
из-под копыт, оні с хохотом удалялись.

Как мне хотелось тогда догнать этих ту-
пых людей, схватить их коней под уздцы и
крикнуть в их глумящиеся рожки: «Не смейте
так говорить о нашем учителе! Вы глупые,
дурные люди!»

Но кто внял бы голосу безответной дев-
чонки? И мне оставалось лишь глотать горю-
чие слёзы обиды. А Дюйшён точно бы и не
замечал оскорблений, вроде бы ничего такого
и не слышал. Придумает, бывало, какую-ни-
будь шутку-прибаутку и заставит нас смеять-
ся, позабыв обо всём.

Сколько ни старался Дюйшён, не удава-
лось ему достать леса, чтобы построить мостик
через речку. Как-то раз, возвращаясь из шко-
лы и переправив малышён, мы остались с
Дюйшёном на берегу. Решили соорудить из

каменей и дёрна переступки, чтобы больше не мочить нóги.

Если рассудить по справедливости, то стоило жителям нашего айла собраться да сообща перебрóсить чéрез потòк две-три лесины, глядишь — и мост для школьников был бы готов. Но в том-то и дéло, что в те дни людí по темноте своей не придавали значения учёбе, а Дюйшэна считали в лучшем случае чудаком, который вóзится с ребятишками от нечего дéлать. Охóта тебе — учи, а нет — разогни всех по домáм. Сами они ёздили верхом и в переправах не нуждались. А всё-таки слéдовало, конéчно, нашему наро́ду призадуматься: ра́ди чего éтот молодой па́рень, который ничём не хуже и не глупее дру́гих, ра́ди чего он, терпя́ трудности и лишения, снося́ наёмшки и оскорблénия, учит их детéй, да ещё с таким необыкновенным упóрством, с такой нечеловеческой настойчивостью?

В тот день, когда мы укладывали кáмни чéрез потòк, на землe уже лежал снег и вода была такая студёная, что дух захватывало. Не представляю себе, как терпéл Дюйшэн, ведь он работал босой, без передышки. Я с трудом ступала по дну, казалось, усёянному жгучими углями.

И вот на середине рёчки судо́рога в и́крах вдруг скóрчила меня в три погíбели. Я не могла ни вскрикнуть, ни разогнётся и начала мéдленно валиться в воду.

Дюйшэн бросил кáмень, подскочил ко мне,

подхватил на руки, вибежал со мной на бéрег и усадил меня на свою шинель. Он то растирал мой синие, онемевшие нóги, то сжимал в ладо́нях мой застывшие рúки, то подносил их ко рту и согревал дыха́нием.

— Не náдо, Алтына́й, посиди́ тут, согрейся, — приговаривал Дюйшэн. — Я и сам справлюсь...

Когда наконец перехóд был готов, Дюйшэн, натягивая сапоги, глянул на меня, нахохленную и озыбшую, и улыбнулся.

— Ну как, помощница, отогрелась? Накинй на себя шинель, вот так! — И, помолчав, спросил: — Это ты, Алтына́й, оставила в тот раз кизяк в шко́ле?

— Да, — ответила я.

Он улыбнулся чуть замéтно, уголка́ми губ, как бы говоря́ про себя: «Я так и ду́мал!»

Помню, как в ту мину́ту огнём полыхнули мой щёки: знает, учитель знал и не забывал об éтом, казалось бы, пустяковом слúчае. Я была счастлива, и Дюйшэн по́нял мою радость.

— Ручеёк ты мой светлый, — сказал он, ласково глядя на меня. — И способности у тебя хорошие... Эх, если бы я мог послать тебя в большо́й го́род! Ка́ким бы ты человеком стала!

Дюйшэн порывисто шагнул к бéрегу.

И сейча́с он стоит пе́ред моими глаза́ми, как сто́ил тогда́ у шумливой каменистой рёчки, заки́нув рúки на заты́лок, и смóтрит уст-

ремельными вдаль сияющими глазами на белые облака, гонимые ветром над горами.

О чём он думал тогда? Может быть, и правда в мечтах своих отправлял меня учиться в большой город? А я думала в ту минуту, кутаясь в шинель Дюшэна: «Если бы учитель был моим родным братом! Если бы я могла кинуться к нему на шею, и крепко обнять его, и, зажмурив глаза, прошептать ему на ухо самые лучшие на свете слова! Боже, сделай же его моим братом!»

Наверно, мы все любили тогда своего учителя за его человечность, за его добрые мысли, за его мечты о нашем будущем. Хотя мы и были детьми, мне думается, мы это уже тогда понимали. Что же ещё заставило бы нас каждый день ходить в такую даль и забираться на крутой бугор, задыхаясь от ветра, увязая в сугробах? Мы сами шли в школу. Никто нас не гнал туда. Никто не заставлял бы нас мерзнуть в этом холодном сарае, где дышание оседало белой изморозью на лицах, руках и одежде. Мы только позволяли себе по очереди греться у печки, пока все остальные сидели на своих местах, слушая Дюшэна.

В один из таких студеных дней — это было, как теперь помню, в конце января — Дюшэн собрал нас, обойдя все дворы, и, как обычно, повёл в школу. Шёл он молчаливый, строгий, со сдвинутыми, как крылья беркута, бровями, и лицо его казалось выкованным из чёрного, прокалённого железа. Никогда ещё



Мы забирались гуськом на бугор.

не видели мы таким своего учителя. Глядя на него, мы тоже притихли: почувствовали что-то неладное.

Когда на дороге встречались большие су-
тробы, Дюйшён обычно сам прокладывал
путь, за ним шла я, за мной все остальные.
И в этот раз у подножия бутра, где за ночь
намело много снега, Дюйшён пошёл вперёд.
Иногда посмотришь на человека со спины — и
сразу поймёшь, в каком он состоянии, что
творится у него на душе. Вот и тогда видно
было, что учитель наш убил горем. Он шёл с
поникшей головой, с трудом волоча ноги. Я до
сих пор помню страшное чередование перед
глазами чёрного и белого: мы собирались
тутском на бутор — под чёрной шинелью гор-
билась спина Дюйшёна, а выше по крутизнам
над ним горбились верблюжьими хребтинами
белые сугробы, и ветер срывал с них позёмку,
а ещё выше — в белом мутном небе — темнела
одинокая чёрная тучка. Когда мы пришли,
Дюйшён не стал растапливать печь.

— Встаньте, — приказал он.

Мы поднялись.

— Снимите шапки.

Мы послушно обнажили головы, и он тоже
сорвал с головы будёновку. Мы не понимали,
к чему это. И тогда учитель сказал просту-
женным, прерывающимся голосом:

— Умер Лёнин. По всей земле люди стоят
сейчас в трауре. И вы стойте на своих мес-
тах, замрите. Смотрите вот сюда, на порт-

рет. Пусть запомните вам этот день.
В нашей школе стало так тихо, будто её
накрыла лавина. И слышно было, как ветер
врывётся в щели. И слышно было, как сне-
жинки с шорохом падают в солонку.

В тот час, когда онемели неумолчные го-
рода, когда затихли содрогавшие землю за-
воды, когда замерли на путях грохочущие
поезда, когда весь мир потонул в траур, — в
тот скорбный час и мы, маленькая частица
частичи народа, затаив дыханье торжествен-
но стояли в карауле вместе со своим учителем
там, в неведомом никому промерзшем сарае,
именуемом школой, и прощались с Лёниным,
мысленно считая себя самыми близкими ему
людьми, больше всех горюющими о нём.
А наш Лёнин в своём несколько мешковатом
военном френче, с рукой на перевязи всё так
же смотрел на нас со стёны и всё так же
говорил нам своим ёсным, чистым взглядом:
«Если бы вы знали, дети, какое прекрасное
будущее ожидает вас!» И чудилось мне в ту
тихую минуту, что он и в самом деле думает
о моём будущем.

Потом Дюйшён вытер глаза рукавом и
сказал:

— Я уйду сегодня в волюсть. Я иду всту-
пать в партию. Вернусь через три дня...

Эти три дня мне всегда представляются
самыми суровыми из всех зимних дней, ко-
торые мне пришлось пережить. Словно бы ка-
кие-то могучие силы природы пытались вос-

пóлнить на землѣ мѣсто великаго человѣка, ушедшаго из нашего міра: гудѣл, не стихая, вѣтер в яру, кружилъ снѣжные метели, жезлѣзно звенѣл мороз... Не находила себѣ покоя стихія: металась, бѣлась в плаче о землю...

Притихъ наш айл, примолкъ под горами, смутно темнѣющими в низкихъ наплывахъ туч. Из завьюженныхъ трубъ тонулись тоненькіе дымки, люди не выходили из домовъ. Да къ тому ещё залюговали вдругъ волки. Обнаглѣли, днёмъ появлялись на дорогахъ, а по ночамъ рыскали вблизи айла и до самаго рассвѣта выли голодными, истощеннымъ воёмъ.

Боялась я почему-то за нашего учителя: как он там в такіе холода, без шубы, в одной шинели? А в тот день, когда Дюйшѣн долѣжен былъ вернуться, я совсѣмъ потеряла голову: чую, видно, сердце что-то недоброе. То и дѣло выбѣгала я изъ дому, смотрѣла в заснѣженную безлюдную степь: не покажется ли учитель на дорогѣ? Но не видно было ни души.

«Где же ты, учитель наш? Умоляю тебя, не задерживайся допоздна, возвращайся быстрее. Мы ждѣмъ тебя, ты слышишь, учитель! Мы ждѣмъ тебя!»

Но степь не отзывалась на мой безмолвный крикъ, и я почему-то плакала.

Тѣткѣ надоели мой хожденія.

— Ты дашь сегодня покой дверямъ? А ну, садись на своё мѣсто, берись за прѣжу. Детей поморозила. Попробуй выскочи ещё! — погро-

зила она мне пальцемъ и больше не выпускала изъ дому.

Вечерело уже, а я так и не знала, вернулся учитель или нет. И от этого не находила себѣ мѣста. То утешалась мыслью, что Дюйшѣн, пожалуй, уже в айле, ведь не было ещё слуха, чтобы он не вернулся в обѣщанный день. То вдругъ казалось мне, что он заболѣл и поэтому идѣтъ медленно, а поднимется бурянъ, так и заблудиться недолго ночью в степи. Работа не клѣилась, руки не слушались меня, прѣжа то и дѣло обрывалась, и это бесило тѣтку.

— Да что съ тобой сегодня? Руки у тебя деревянныя, что ли? — всё больше свирѣпѣла она, косясь на меня. А потомъ терпѣніе у неё лопнуло. — Ух, погѣбели на тебя нетъ! Иди-ка лучше отнеси старухѣ Сайкал ихній мешокъ.

Я чуть не подпрыгнула от радости. Ведь Дюйшѣн жилъ какъ раз у старухи Сайкал. Старикъ Сайкал и Картанбай доводились мнѣ дальними родственниками по матери. Прѣжде и частенько у нихъ бывала, а иной разъ даже и ночевать оставалась.

Вспомнила ли тѣтка объ этомъ или богъ ей такъ подсказалъ, но, сунувъ мнѣ мешокъ, она добавила:

— Ты сегодня осточертѣла мнѣ, какъ толкуну в голодный годъ. Ступай и, если позволятъ старики, переночуй тамъ. Иди с глазъ моихъ долой...

Я выскочила во дворъ. Вѣтеръ бесновался, какъ шаманъ: захлѣбывался, а потомъ внезапно

накидывался, швыряя в разгорячённое лицо пригоршни колёсого снёга. Я зажала мешок под мышкой и пустилась бежать в другой конец айла по свежему раскидистому следу конских копыт. А голову точила только одна мысль: «Вернётся ли учитель?»

Прибежала, а его нет. Сайкал перепугалась, когда я застыла на пороге, едва переводя дыхание.

— Что с тобой? Ты что так бежала, беда какая?

— Нет, так просто. Мешок вот принесла. Можно, я у вас останусь сегодня?

— Оставайся, ніточка моя. Фу-ты, негодница, страху-то напала. Ты что-то с самой осени не заглядываешь. Сядь к огню, грейся.

— А ты, старуха, мяса положи в казан, угости дочку. Да и Дюйшен часом подоспел, — отозвалась Картанбай, который сидел подле окна и подшивал старые валенки. — Давно бы пора ему дома быть, ну да ничего, приедет, пока смеркнется. Наша лошаденка к дому ходкая.

Незамётно подобралась к окнам ночь. Сердце моё, казалось, стояло на страже, оно напругенно замирало, когда лаяли собаки или доносился голос людей. А Дюйшена всё не было. Хорошо ещё, Сайкал скрадывала время разговорами.

Так мы ждали его с часу на час, а к полуночи Картанбай устал.

— Давай-ка, старуха, стели постель. Не приедет он сегодня. Поздно уже. Мало ли дел у начальников, задержали, стало быть, а не то давно бы дома был.

Старик стал укладываться.

Мне постелили в углу за печкой. Но я не могла заснуть. Старик всё кашлял, ворочался, шептал в ночи молитвы, а потом пробормотал беспокойно:

— Как-то там лошаденка мой? Ведь ключка сена задарма не выпросишь, а овса и за деньги не достанешь.

Картанбай вскоре уснул, но тут ветер не стал давать покоя. Он шарил по крыше, воршил шершавой патерней стреху¹, скребся в стёкла. Слышно было, как снаружи позёмка билась в стены.

Не успокоили меня слова старика. Мне всё казалось, что учитель приедет, и я думала о нём, представляла его себе в пути, среди пустынных снегов. Не знаю, надолго ли я заснула, но вдруг что-то заставило меня оторвать голову от подушки. Гусавый, утробный иной разнёсся над землёй и застыл где-то в воздухе. Волк! И не один — их много. Перекикаясь с разных сторон, волки быстро сблизались. Их подвывания слились в единый противный вой, который вместе с ветром метился по степи, то удаляясь, то приближаясь снова. Иной раз казалось, что они

¹ Стреха — нижний, свисающий край крыши.

гдѣ-то совсѣм рѣдом, на краю айла.

— Буран накликают! — прошептала старуха.

Старик промолчал, прислушался, затѣм вскочил с постели.

— Нет, старуха, непростѣ это! Гонят онѣ кого-то. Человѣка ли, лошадь ли окружают. Слышишь? Упаси бог, Дюйшенѣ. Ведь ему все нипочѣм, дурень он ѣтакий. — Картанбай всполошился, ища в темнотѣ шубу. — Свет, свет давай, старуха! Да побыстрѣй ты, ради бога!

Дрожѣ от страха, мы вскочили, и пока Сайкал нашла лампу, пока она засветила еѣ, яростный вой волков вдруг разом смолк, слово его рукой сняло.

— Настѣгли, окайнные! — вскрикнул Картанбай и, схватив ключу, кинулся было к дверѣ, но в это время залягли собѣаки. Кто-то пробежал под окнами, скрипя подошвами по снѣгу, и громко, нетерпѣливо застукал в дверь.

В комнату ворвалось морозное облако. Когда оно рассѣялось, мы увидѣли Дюйшенѣ. Блѣдный, задыхающийся, он, шатаясь, перешагнул чѣрез порог и прислонился к стѣнѣ.

— Ружьѣ! — выдохнул Дюйшенѣ.

Но мы словѣно бы не поняли его. У меня в глазах потемнѣло, и я слышала только, как запричитали старикѣ:

— Чѣрную овцу — в жертву, бѣлую овцу — в жертву! Да храни тебѣ святой Баубе-дин. Ты ли это?

— Ружьѣ, дайте ружьѣ! — повторил Дюйшенѣ.

— Нет ружья, что ты, куда?

Старикѣ повѣсили на плечах Дюйшенѣ.

— Дайте пѣлку!

Но старикѣ взмолились:

— Никуда не пойдѣшь, никуда, пока мы живы. Лѣше убей нас на мѣстѣ!

Я почувствовала вдруг странную слабость во всем тѣлѣ и мѣлча легла в постель.

— Не успѣл, настѣгли у самого дома. — Дюйшен шумно перевѣл дыханье и швырнул в угол камчу¹. Лошадь ещѣ в дорогѣ заморилась, а потѣм волки потнагли, она доскакала до айла и рѣхнула, как сноп. Там онѣ и набросились на нее.

— Ну и бог с ней, с лошадью, главное, что сам живой остался! А не упалъ конь, онѣ бы тебѣ не упустили! Слава хранителю Баубе-дину, что все так кончилось. Тепѣрь раздѣвайся, садись к огню. Давай сапоги стану², — светился Картанбай. — А ты, старуха, подогрѣй, что там у тебѣ есть.

Онѣ сѣли к огню, и тогда Картанбай облетѣнно вздохнул.

— Ну ладно, чему быть, того не миновать. А чѣго же это ты так поздно выѣхал?

— Засѣданіе в волкомѣ³ затанулось, Каракѣ. Я вступил в партию.

¹ Камча — нагайка, плеть.

² Волком — районный (волостной) исполнительный комитет.



Старикі повисли на плечах Дюйшэна.

— Это хорошó. Ну вѣхал бы на друго́й день с утра, ведь тебѣ, я думаю, никто не гнал прикладом в доро́гу.

— Я обеща́л дѣтям верну́ться сего́дня, — отвѣтил Дюйшэ́н. — Завтра с утра на-чнём занима́ться.

— Эх, ду́ренъ! — да́же привскочил Ка́ртанба́й и от негодованія замота́л голо-вой. — Ты послушай то́лько, стару́ха: он, ви-дишь ли, обеща́нье дал дѣтям, э́тим сопля́кѣм! А е́сли бы в живы́х не оста́лся? Да сообра-жа́ешь ли ты своѣй головой, что говори́шь?

Это мой дол́г, мо́я рабо́та, Ка́раке́. Вы о друго́м скажи́те: обы́чно пенско́м ходи́л, а тут, че́рт меня́ дёрнул, вы́просил у вас ло́шадь и о́тдал её волка́м на сведе́ние...

— Да не о том ре́чь. Пропа́дъ она́ про́па-дом, э́та кля́ча. Пусть бу́дет в же́ртву тебѣ принесена́! — осерча́л Ка́ртанба́й. — Век был безлоша́дным и те́перь не пропа́ду. А бу́дет сто́ять Советская вла́сть — наживу́ ещё...

— Де́ло говори́шь, стари́к, — отозвала́сь набры́кшим от слёз го́лосом Сайка́л. — Нажи-мём ещё... На́-ка, сынóк, хлеба́й, пока́ го-роче...

Онѝ замолча́ли. А мину́ту спустя́, разгре-бѣи ки́зьячный жар, Ка́ртанба́й задумчи́во про-мóлвил:

— Смотри́ю я на тебѣ́, Дюйшэ́н, вроде бы и не глупы́й ты, а ско́рее у́мный па́рень. И не пойму́ ника́к, чего́ ра́ди ты мы́каешься с э́той шко́лой, с ребя́тешками несмышлёны́ми? Или

не найти тебе друго́го де́ла? Да наймись ты кому́-нибудь в чаба́ны, тепло́ и сы́тно бу́дет...

— Я понима́ю, Караке́, что вы до́бра мне жела́ете. Но е́сли э́ти несмышле́ныши бу́дут пото́м вот так же, как вы, говори́ть, заче́м нужна́ шко́ла, заче́м нам уче́ние, то де́ла Со-ве́тской вла́сти не́далеко́ пойду́т. А ве́дь вы хоте́те, что́бы о́на сто́яла, что́бы о́на жи́ла. И пото́му шко́ла для́ меня́ не в та́кость, Караке́. Е́сли бы я мог лу́чше учи́ть ребя́т, я бы ни о че́м бо́льше не мечта́л. Вот ве́дь и Ле́нин говори́л...

— Да, к сло́ву...— переби́л Карта́нбай Дюйше́на и, помолча́в, сказа́л: — Вот ты всё убива́ешься. А ве́дь слеза́ми не воскреси́шь Ле́нина! Эх, е́сли бы была́ така́я си́ла на земле́! Или, ты ду́маешь, други́е не печа́лятся, не то́рюют?... А ты загляни́ ко мне под ре́бра: ды́мит там се́рдце го́рыжим ды́мом. Не зна́ю, пра́во, сойде́тся ли э́то с твоёй поли́тикой, но хотя́ Ле́нин был челове́ком друго́й ве́ры, а я пять раз на́ день молю́сь за него́. А ино́й раз ду́маю я, Дюйше́н, ско́лько бы мы с тобо́й его́ не опла́кивали, всё без по́льзы. Так я э́то по-свое́му, по-ста́риковски, рассу́дил: Ле́нин в наро́де са́мом оста́лся, Дюйше́н, и переи́дёт по кро́ви — от отцо́в к сыновья́м.

— Спа́сибо вам за ва́ши сло́ва, Караке́, спа́сибо. Пра́вильно вы ду́маете. Уше́л он от нас, а мы жи́знь по Ле́нину ме́рить бу́дем...

Слу́шав их разгово́ры, я как бы ме́дленно возвра́щалась изда́лека к са́мой себе́. Внача́ле

и́сь походи́ло на сон. Я до́лго не могла́ заста́вить себя́ пове́рить, что Дюйше́н верну́лся жи́вой и невре́димый. А пото́м, как ве́шний! пото́к, хлы́нула в мою́ раско́ванную ду́шу не-уёмная, неуда́ржимая ра́дость, и, захлёбыва́ясь в э́том го́рычем пото́ке, я запла́кала на-изры́д. Мо́жет быть, ещё́ никто́ никогда́ не ра́довался так, как я. В э́ту мину́ту для́ меня́ ниче́го не существова́ло: ни э́той ма́занки, ни бура́нной но́чи во дворе́, ни во́лчьей ста́и, терза́ющей на окра́ине айла́ еди́нственную ло́шадь Карта́нбая. Ни́чего! Се́рдцем, ра́зумом, всем существо́м своим я ощу́щала́ бесконе́чное, безме́рное, как свет, необы́кновенное сча́стье. Я укры́лась с голо́вой и зажа́ла рот, что́бы меня́ не услы́шали. Но Дюйше́н спроси́л:

— Кто э́то всхли́пывает за пе́чкой?

— Да э́то Алты́най, пере́пуга́лась да́веча, вот и пла́чет,— сказа́ла Сайка́л.

— Алты́най? Отку́да о́на? — Дюйше́н искочи́л с ме́ста и, опу́стившись на ко́лени у моего́ изголо́вья, трону́л меня́ за плечо́.— Что с тобо́й, Алты́най? Ты поче́му пла́чешь?

А я отверну́лась к стене́ и пу́ще пре́жнего́ пла́лась слеза́ми.

— Да что ты, ми́лая, че́го ты так испу́глась? Ну ра́зве мо́жно так, ве́дь ты у нас бо́льшая... А ну, глянь на́ меня́...

В е ш н и й — ве́сенний.

Я крепко обняла Дюйшену и, уткнувшись в его плечо мокрым горячим лицом, неудержимо всхлипывала и ничего не могла поддаться с собой. Меня была радость как в лихорадке, и я бесильна была унять ее.

— Да, никак, сердце у ней сдвинулось с места! — забеспокоился Картанбай и тоже поднялся с кошмы! — А ну, старуха, заговори, пошепчи малость, да поживей...

И все они вдруг всполошились. Сайкал напугивала заклинания, брызгала мне в лицо холодной, то горячей водой, обдавала паром, и сама плакала вместе со мной.

Ах, если бы они знали, что сердце мое «сдвинулось с места» от великого счастья, о котором я не в силах была рассказать, да, пожалуй, и не сумела бы.

И пока я не успокоилась и не уснула, Дюйшен сидел возле меня и тихо глядел прохладной рукой мой горячий лоб.

*

Зима оточевала за перевал. Уже гнала свой синий табунный весна. С оттаявших, набухших равнин потекли в горы теплые потоки воздуха. Они несли с собой весенний дух земли, запах парного молока. Уже осели сулробы, и тронулись льды в горах, и тренькнули ручьи, а потом, схлестываясь в пути, они хлы-

¹ К о ш м а — большой кусок войлока.

нули бурными, всесокрушающими реками, наполнив шумом размытые овраги.

Может быть, это и была первая весна моей юности. Во всяком случае, она казалась мне краше прежних весен. С бутра, где стояла наша школа, открывался глазам прекрасный мир весны. Земля, словно бы раскйнув руки, сбегала с гор и неслась, не в силах остановиться, в мерцающие серебряные дали степи, облитые солнцем и легкой, прозрачной дымкой. Где-то за тридевять земель голубели талые озёрца, где-то за тридевять земель ржали кони, где-то за тридевять земель пролетали и небо журавли, неся на крыльях белые облака. Откуда летели журавли и куда они звали сердце такими томительными, такими труппными голосами?..

С приходом весны мы забыли веселее. Мы придумывали разные игры, беспричинно смеялись, а после уроков от самой школы до айданского дорожку бежали, громко перекликаясь. Тетю не нравилось это, и она не выпускала случая обругать меня:

— Ты-то что резвись, дурёха? И дела тебе нет, что в девках засиделась. У добрых людей такие, как ты, давно замуж повихонили, родных в дом прибавили, а ты... Нашла себе забаву — в школу ходить... Но погоди, и тебя приберу к рукам...

По правде говоря, я не очень-то близко к сердцу принимала тетюнины угрозы: не в новинку же — всю жизнь ругается. А сказать



про меня, что я засиделась, и вовсе было несправедливо. Я просто вытинулась в эту весну.

— Ты ещё лохматая девчонка,— смеялся Дюшён.— Да к тому же, как жется, рыжая!

Его слова меня нисколько не обижали. Конечно, думала я про себя, я лохматая, но всё-таки не совсем рыжая. А вот когда я вырасту, стану настоящей невестой, то разве же я буду така́я? Пусть посмотрит тогда тётка, какая буду красивая. Дюшён говорит, что у меня глаза блестя́т, как звёзды, и лицо открытое.

Как-то раз, когда я прибежала из школы, у нас во дворе стояли две чужие лошади. Судя по седлам, по сбруе, хозяева их приехали с гор. И раньше случалось, что они заворачивали к нам по пути с базара или на мельницу.

Ещё с порога меня резанул какой-то неестественный смех тётки: «Да ты, племянничек, не очень-то тужь, не обеднёшь. Зато потом, когда получишь голубку в руки, добрым словом меня помянешь. Хи-хи-хи!» В ответ послышались поддакивающие, хохочущие голоса, а когда я появилась в дверях, все сразу смолкли. У разостланной на кошмё скатерти сидел как пенёк краснолицый грузный человек.

Он покосился на меня из-под лисьей шапки, нагнутой на потный лоб, и, кинувшись, опустил глаза.

— А, доченька, вернулась, заходи, милая! — лисково ухмыляясь, встретил меня тётка.

Дядя сидел на краешке кошмы тоже с каким-то незнакомым мне человеком. Они играли в карты, пили водку и ели бешбармак¹. Оба были пьяны, и их головы как-то странно мотались, когда они были кривыми.

Наша серая кошка подобралась было к окатерти, но краснолицый так стукнул её по голове костышками палцев, что она, дико напугав, отскочила в сторону и забилась в угол. Ох, как больно было ей! Мне захотелось уйти, только я не знала, как это сделать. Тут меня выручила тётка.

— Доченька,— сказала она,— там в казане еда, покушай, пока не остыло.

Я вышла, но мне очень не понравилось такое поведение тётки. И на душе стало неспокойно. Я довольно насторожилась.

Часа́ через два приехали сели на коней



¹ Бешбармак — национальное блюдо, приготовленное из мяса и лапши.

и уехали в горы. Тётка тут же начала осыпаться меня обычной бранью, и у меня отлегло от души. «Значит, она просто спьяну была такой ласковой», — решила я.

Вскоре после этого к нам пришла как-то старуха Сайкал. Я была на дворе, но услышала, как она сказала:

— Да что ты, бог с тобой! Погубишь ты её! Перебивая друг друга, тётка и Сайкал о чём-то горячо заспорили, и затем старуха вышла из дому очень разгневанная. Она бросила на меня сердитый и в то же время жалостливый взгляд и молча ушла. А мне стало не по себе. Почему она так посмотрела на меня, чем я ей не угодила?

На другой день в школе я сразу заметила, что Дюйшён мрачен и чём-то озабочен, хотя и старается не показывать нам виду. И ещё я заметила, что он почему-то не смотрит в мою сторону. После уроков, когда мы все гулять вышли из школы, Дюйшён окликнул меня:

— Постой, Алтынай. — Учитель подошёл ко мне, пристально посмотрел мне в глаза и положил руку на плечо. — Ты домой не ходи. Ты поняла меня, Алтынай?

Я помертвела от страха. Только теперь до меня дошло, что собиралась сделать со мною тётка.

— Я сам за тебя отвечу, — сказал Дюйшён. — А жить ты будешь пока у нас. И далеко от меня не отлучайся.

Наверно, на мне лица не было. Дюйшён шёл меня за подбородок и, глядя в глаза, улыбаясь, как всегда.

— Да ты не бойся, Алтынай! — засмеялся он. — Когда я с тобой, никто не бойся. Учишь, ходишь в школу, как прежде, и ни о чём не думай... А то ведь я знаю, какая ты трусиха... Да, кстати, давно собирался рассказать тебе. — Видно вспомнив что-то смешное, он опять засмеялся. — Помнишь, в тот раз Каранё поднялся спозаранку и куда-то исчез? Смотрю, приводит — кого бы ты думала? — инхарку, Джайнакову старуху. «Зачем?» — спрашиваю. «Пусть, говорит, пошаманиит, а то у Алтынай сердце сдвинулось с места со страху». А я и говорю: «Гоните её со двора, от неё ниче, как одной овцой, не отделаешься. А мы не так богаты. Коня подарить тоже не можем: некому отдали...» А ты ещё спала. Так я и выпроводил её. А Каранё потом целую неделю не разговаривал со мной, обиделся. «Ты, говорит, подвёл меня, старого». И всё-таки жоршине они старики, редкой доброты люди. Ну, теперь пошли домой, пошли, Алтынай...

Как ни старалась я держать себя в руках, чтобы не огорчать понапрасну учителя, тревожные мысли уже не отпускали меня. Ведь в любой час сюда могла зайти тётка и силой увести меня. А там они сделают со мной что захотят, и никто в айле не запретит им этого. Я всю ночь не спала, ожидая бед.

Дюйшён, конечно, понимал моё состояние. И, может быть, поэтому, чтобы как-то отвлечь меня от мрачных дум, он принёс на другой день в школу два деревца. А после уроков взял меня за руку и отвёл в стору.

— Сейчас мы с тобой, Алтынай, сделаем одно дело, — сообщил он, загадочно улыбаясь. — Вот эти топольки я принёс для тебя. Мы с тобой их посадим. И пока они вырастут, пока наберут силу, ты тоже вырастешь, будешь хорошим человеком. У тебя душа хорошая и ум пылливый. Мне всегда кажется, что ты будешь учёным человеком. Я в это верю, вот посмотришь, у тебя на роду так написано. Ты сейчас молоденькая, точно прутик, такая же, как эти топольки. Так давай посадим их, Алтынай, своими руками. И пусть твоё счастье будет в учёнии, звездочка ты моя наша...

Дерева были ростом с меня, молоденькие, сизостволые топольки. И когда мы их посадили неподалёку от школы, с предгорья набежал ветерок и первый раз тронул их совсем ещё маленюкие листочки, словно бы жизнь вдолхнул в них. Дрогнули листочки, шевельнулись топольки, закачались...

— Поглядь, как хорошо! — засмеялся Дюйшён, отступая назад. — А теперь проведём сюда арык вон от того родника. И потом увидишь, какие это будут красивые тополя! Они будут стоять здесь, на бугре, рядышком, как

два брата. И всегда они будут на виду, и добрые люди будут им радоваться. Тогда и жизнь станет иная, Алтынай. Всё лучше ещё увидишь...

И сейчас не могу найти слов, чтобы хоть сколько-нибудь выразить, как я была тронута благодарством Дюйшёна. А тогда я просто стояла и смотрела на него. Я смотрела так, будто бы впервые увидела, сколько светлой прелесть в его лице, сколько нежности и добра в его глазах, будто бы никогда прежде не знала я, как сильные и ловкие его руки в работе, как чиста его ясная улыбка, согревающая сердце. И горьчайшей волной поднялось в моей груди новое, незнакомое чувство из неведомого ещё мне мира. И я внутренне рванулась к Дюйшёну, чтобы сказать ему: «Учитель, спасибо вам за то, что вы родились таким... Я хочу обнять и поцеловать вас!» Но я не посмела, постыдилась произнести эти слова. А может быть, надо было...

Но тогда мы стояли на бугре под ясным небом, среди зеленющих весенних предгорий, каждый мечтая о своём. И в тот час я совсем забыла об угрозе, нависшей надо мной. И не подумала я, что ждёт меня завтра, и не подумала, почему вот уже второй день тётка не ищет меня. Может, они позабыли обо мне, может, решили оставить в покое? Но Дюйшён, улыбаясь, думал об этом.

— Ты не больно печалься, Алтынай, найдем выход, — сказал он, когда мы возвраща-

лись в айл.— Послезавтра я поеду в волюсть. Буду говорить там о тебе. Может быть, добьёшь, чтобы тебя послали в город учиться. Хочешь поехать?

— Как скажете, учитель, так и будет,— ответила я.

Хотя я и не представляла себе, какой он такой, город, но для меня оказалось достаточно слов Дюйшэна, чтобы уже мечтать о городской жизни. То я страшилась неизвестности, ждущей меня в чужих краях, то снова решалась отправиться в путь — словом, город теперь не выходил у меня из головы.

А на следующий день в школе я думала о том же: как и у кого буду жить в городе. Если кто-нибудь пригласит, буду дрова колоть, воду носить, стирать, буду делать всё, что прикажут. Размышляла я так, сидя на уроке, и от неожиданности вздрогнула, когда за стенами нашей ветхой школы раздался дробный топот копыт. Это было так внезапно, и кони мчались так стремительно, словно вот-вот растопчут нашу школу. Мы все насторожились.

— Не отвлекайтесь, занимайтесь своим делом,— быстро сказал Дюйшэн.

Но тут дверь с шумом распахнулась, и на пороге мы увидели мою тётку. Она стояла со злобной улыбкой на лице. Дюйшэн подошёл к дверям:

— Вы по какому делу?

— А по такому, что тебя не касается. Девку свою замуж буду провожать. Эй ты, бездомная! — Тётка ринулась ко мне, но Дюйшэн преградил ей дорогу.

— Здесь только школыницы, и замуж выдавать ещё некого! — твёрдо и спокойно сказал Дюйшэн.

— Это мы ещё посмотрим. Эй, мужики, хватайте её, волочите сучку!

Тётка поманила рукой одного из всадников. Это был тот самый краснорожий в лисвей шинке. За ним спешились¹ с коней ещё двое с увесистыми кольями в руках.

Учитель не двинулся с места.

— Ты что, безродная собака, расправляешься чужими девушками, как своими женами! А ну, прочь! И краснорожий медведем двинулся на Дюйшэна.

— Вы не имёете права входить сюда, это школа! — сказал Дюйшэн, крепко держась за дверные косяки.

— Я ж говорила! — взвизгнула тётка. — Он сам давно уже с ней снохался. Приманил сучку за дарма!

— Плевать мне на твою школу! — взревел краснорожий, заматываясь камчой.

Но Дюйшэн опередил его. Он с силой пнул его в живот ногой, и тот, ахнув, упал. В ту же минуту те двое с кольями набросились на

¹ С п е ш и л и с ь; с п е ш и т ь с я — слезть с лошади, чтобы идти пешком.

учителя. Ребята с рёвом кинулись ко мне. Под ударами дверь разлетелась в щепки.

Я метнулась к дерущимся, волоча за собой выпившихся в меня малышей.

— Отпустите учителя! Не бейте! Вот я, берите меня, не бейте учителя!

Дюйшён оглянулся. Он был весь в крови, страшный и ожесточённый. Подхватив с земли доску и размахивая ею, он закричал:

— Бегите, дети, бегите в ай! Убегай, Алтынай! — и захлебнулся в крике.

Ему перебили руку. Прижимая её к груди, Дюйшён попытлся, а те, ревя, как бешеные быки, стали избивать его, теперь уже беззащитного.

— Бей! Бей! Садй по голове! Бей наповал!

Ко мне подскочила разъярённая тётка вместе с краснорожким. Они накиннули мне на шею косу и поволокли во двор.

Я рванулась изо всех сил и на секунду увидела оцепеневших в крике детей, а у стены, забрызганной тёмной кровью, Дюйшёна.

— Учителы!

Но Дюйшён ничём не мог помочь мне. Он ещё держался на ногах; шатаясь, точно пьяный, под ударами извергов, он пытался поднять мотающуюся голову, а те всё били и били его. Меня повалили на землю и связали руки. В это время Дюйшён покатылся по земле.

— Учителы!

Но мне зажали рот и переборосили поперёк сёдла.

Краснорожкий был уже на коне и придавил меня руками и грудью. Те двое, что избивали Дюйшёна, тоже вскочили в сёдла, а тётка бежала рядом и колотила меня по голове.

— Дождались, дождалась! Вот как, вот как я выпроводила тебя! И учителю твоему нонёц...

Но это был ещё не конёц. Сзади донёсся марш отчаянный крик:

— Алты-на-а-ай!

И с трудом подняла голову и глянула.

За нами бежал Дюйшён. Избитый до полумёрти, окровавленный, он бежал с булыжником в руке. А за ним следом — с плачем и криком весь наш класс.

— Стойте, звери! Стойте! Отпустите её, отпустите! Алтынай! — кричал он, догоняя нас.

Насильники приостановились, и те двое закружились на конях вокруг Дюйшёна. Ухватив зубами рукав, чтобы не мешала перебитая рука, Дюйшён примерился и метнул камень, но не попал. И тогда те двое свалили его и лужу двумя ударами колюев. В глазах у меня помутилось, я только успела ещё заметить, как ребята наши подбежали к учителю и в страхе остановились над ним.

Не помню, как и куда меня привезли. Очнулась я в юрте. В открытый купол заглядывали ранние звёзды, спокойные, ничём не потревоженные. Где-то рядом шумела река да

слышались голоса ночных пастухов, стороживших отары. У потухшего очага сидела угрюмая, высохшая, словно коряга, старая женщина. Лицо у неё было тёмное, как земля. Я повернула голову в другую сторону... О, если бы я могла убить его взглядом!

— Чернуха, подними её, — приказал красноротый.

Чёрная женщина подошла ко мне и трянула за плечо жёсткой, корявой рукой.

— Усмири свою напарницу, втолкуй ей. А нет — всё равно: разговор с ней будет короткий.

Он вышел из юрты. А чёрная женщина даже не двинулась с места и не вымолвила ни слова. Может быть, она была немая? Её потухшие, подобно холодному пеплу, глаза смотрели, ничто не выражая. Бывают собаки, забытые ещё со щенячьего возраста. Злые люди бьют их чем попало по голове, и те постепенно к этому привыкают. Но в их взгляде поселяется такая беспросветная, пустая тлухота, что жуть берёт.

Я смотрела в мёртвые глаза чёрной женщины, и мне казалось, что сама я уже не живу, что я в могиле. Я готова была поверить в это, если бы не шум реки. Вода с плёском и гулом неслась по перепадам — она была свободна.

Тётка, чёрная твоё душа, будь же ты проклята во веки веков! Захлебнись в моих слезах и крови моей!. В эту ночь, пятнадцать лет от

роду, я стала женщиной... Я была моложе детей этого насильника...

На третью ночь я решила во что бы то ни стало бежать. Пусть пропаду в дороге, пусть наступит меня погибель, но я буду биться до последнего дыхания — так же, как мой учитель Дюйшен.

Всепушно пробралась я в темноте к выходу, оцупала двери, они были надёжно перевязаны волосатым арканом. Верёвку в хитроумных тутих узлах невозможно было развязать в темноте. Тогда я попыталась приподнять остов юрты, чтобы проползти как-нибудь. Однако сколько я ни билась, ничего у меня не получалось — и снаружи юрта была также притянута к земле арканами.

Оставалось только найти что-нибудь острое и перерезать верёвки на дверях. Я принялась шарить вокруг, но ничего не нашла, кроме небольшого деревянного колышка. В отчаянии стала копать им землю под юртой. Затея была, конечно, безнадежная, но я уже не отдавала себе в этом отчёта. В голове колотилась лишь одна безысходная мысль — вырваться отсюда или умереть, только бы не слышать его сопения, беспробудного храпа, только бы не свистаться здесь, умереть — так умереть на свободе, в схватке, только бы не покориться!

Токот — вторая жена. О, как ненавижу я это слово! Кто, в какие глупые времена придумал его! Что может быть унижительнее пожелания подневольной второй жены, рабыни

тѣлом и душой? Встаньте, несчастные, из могил, встаньте, призраки загубленных, поруганных, лишённых человеческого достоинства женщин! Встаньте, мученицы, пусть содрогнётся чёрный мрак тех времён! Это говорю я, последняя из вас, перешагнувшая через эту судьбу!

Не знала я в ту ночь, что мне суждено будет произнести эти слова. Истоплённо, остервенело скребла я зѣмлю под юртой. Почва оказалась каменной, не поддавалась. Я копала ногтями и разодрала в кровь пальцы. А когда под юрту можно было просунуть руку, уже расвелю. Залагли собаки, пробудился народ по соседству. С топотом промчались табун на водопой, фыркая, прошли сынные отары. Потом кто-то подошёл к юрте, отвязал стигивающие её снаружи арканы и принялся снимать кошмы. Это была молчаливая чёрная женщина.

Значит, айл готовился к перекочёвке. Тут я вспомнила, что вчера краем уха слышала разговоры о том, что с утра предстоит сняться с места, откочевать сначала к перевалу, на новое стойбище, а затем на всё лето в глубинную за перевал. И ещё тяжелее стало у меня на душе — бежать оттуда во сто крат труднее. Как сидела я у подкорманного места, так и осталась сидеть, не отодвинулась даже. А что мне было скрывать и зачѣм... Чёрная женщина всё равно увидела, что зѣмля под юртой разрыта, и ничего не сказала, молча

продолжала дѣлать своё дѣло. Да и вообще она не следила за мной так, словно бы её ничего не касалось, вроде бы ничто в жизни не пробуждало в ней никаких ответных чувств. Она даже не разбудила мужа, не посмела попрощаться с его помощью ей собраться в дорогу. Он кричал, как медведь, под одеялами и шубами.

Все кошмы были свернуты, юрта осталась раздетой, и я сидела в ней, точно в клетке, и видела, что неподалёку за рекой люди навиваются волгов и лошадей. Потом я увидела, как к тем людям откуда-то со стороны подбежали три всадника и, что-то спросив у них, направились в нашу сторону. Вначале я подумала, что они едут собирать народ в дорогу, и потом присмотрелась и — оторопела. Это были Дюйшен, а двое других — в милицѣйских фуражках, с красными петлицами на шинелях.

Я сидела ни живая ни мертва, я не могла даже вскрикнуть. Радость охватила меня — жила мой учитель! — и в то же время пустота вошла в душу: я погибшая, опорожнённая...

У Дюйшена была забинтована голова и рука висела на повязке. Он спрыгнул с коня. Ишиб ударом ноги дверь, вбежал в юрту и сдернул одеяла с краснорюжего.

— Вставай! — крикнул он грозно.

Тот поднял голову, протёр глаза и кинулся было на Дюйшена, но сразу сник от напавших на него милицѣйских наганов. Дюй-



шён схватил его за шиворот, траханул и рывком подтянул его голову к себе.

— Сво́лочь! — прошептал он белыми губами. — Теперь угодишь куда следуе! Пошли!

Тот покорно двинулся, но Дюйшён снова рванул его за плечо и, и упор глядя на него, говорил срывающимся голосом:

— Ты думаешь, что истоптал её, как траву, погубил её?.. Врёшь, прошли твой времена, теперь её время, а тебе на этом конец!..

Краснорозежу дали надеть сапоги, связали ему руки и загромождали на коня. Один из милиционеро́в повёл коня на поводу, следом ехал второй. Я села на коня Дюйшёна, он шёл рядом.

Когда мы двинулись, сразу раздался дикий нечеловеческий вопль. Это бежала за нами чёрная женщина. Она, точно сумасшедшая, подскочила к мужу и сбила камнем его лисьё шапку.

— За кровь мою выпитую, душегуб! — орала она истощенным голосом. — За чёрные дни мой, душегуб! Не отпущу тебя живым! Наверно, срок лет не поднимала она голы. А теперь провалилось всё, что накопилось, всё, что накопило у неё на душе. Её

пронзительные крики метались эхом в скалах ущелья. Она забегала то с одной стороны, то с другой, кидала в трусливо согнувшегося мужа навозом, камнями, комыями глины, всем, что попадалось ей под руку, и выкрикивала проклятия:

— Чтоб трава не росла там, где ступит нога твой! Пусть кости твой останутся в поле, чтоб ворон выклевал твой глаз. Не приведи господь увидеть тебя ещё раз! Стинь с моих плеч, стинь, чудовище, стинь, стинь, стинь! — прокричала она, потом умокла, потом с воплем кинулась прочь. Каза́лось, она убежала от своих развешающихся на ветру волос.

Подоспевшие соседи пустились на конях догонять её.

Как после кошмарного сна, гудело у меня и голове. Пришибленная, угнетённая, ехала и на коне. Дюйшён шёл чуть вперёд, держал в руке повод. Он молчал, низко опустив забитованную голову.

Прошло немало времени, прежде чем злое, естественное ущелье осталось позади. Милиционеры уехали далеко вперёд. Дюйшён приставил лошадь и первый раз посмотрел на меня измученными глазами.

— Алтынай, я не сумел уберечь тебя, прощай меня, — сказал он. А потом взял мою руку и поднёс к своей щеке. — Но если ты даже простишь меня, я сам никогда не прощу себе этого...

Я зарыдала и припала к гриве коня.



Дюйшён приостановил лошадь и первый раз посмотрел на меня изумлёнными глазами.

А Дюйшён стоял рядом, молча глядел мой молосы и ждал, пока я наплачусь.

— Успокойся, Алтынай, поедём, — сказал он наконец. — Послушай, что я тебе расскажу. Третьего дня я был в волюсти. Ты поедешь учиться в город. Ты слышишь?

Когда мы остановились у звонкой светлой речушки, Дюйшён сказал:

— Сойди с коня, Алтынай, умойся. — Он достал из кармана кусочек мыла. — На, Алтынай, не жалей. А хочешь, я отойду в сторону, пока ты лошадь, а ты разденься, искупайся в речке. И забудь обо всём, что было, и никогда не вспоминай об этом. Выкупайся, Алтынай, легче станет. Ладно?

Я кивнула головой. И когда Дюйшён отошёл в сторону, я разделась и осторожно ступила в воду. Белые, синие, зелёные, красные камни глянули на меня со дна. Быстрый глубокий поток закипел с говорком у щиколоток. И зачерпнула пригоршнями воду и плеснула себе на грудь. Студёные струйки побежали по телу, и я невольно засмеялась, первый раз за эти дни. Как хорошо было смеяться! Ещё и ещё раз я обдала себя водой, а потом бросилась в глубины потока. Течение стремглав вынесло меня на отмель, а я вставала и снова кидалась в бурлистый, брызжащий поток.

— Унеси, вода, с собой всю грязь и потань этих дней! Сделай меня такой же чистой, как ты сама, вода! — шептала я и смеялась, сама не зная чему.

Почему следы людей не остаются навеки на дорогих им памятных местах? Если бы сейчас я нашла ту тропу, по которой мы возвращались с Дюйшенем с гор, я приняла бы к земле и поцеловала следы учителя. Тропата для меня — всем дорогам дорога. Да будут благословенны тот день, та тропа, тот путь моего возвращения к жизни, к новой вере в себя, к новым надеждам и свету... Спасибо тому солнцу, спасибо земле той поры...

А через два дня Дюйшен повёз меня на станцию.

Оставаться в айле после всего, что случилось, я не хотела. Новую жизнь надо было начинать на новом месте. Да и люди нашли моё решение правильным. Провожали меня Сайкал и Каракё, они суетились, плакали, как малые дети, соваили мне кульки и узелки на дорогу.

Пришли попрощаться со мной и друзья соседи, даже спорщик Сатымкул.

— Ну, с богом, дётка, — сказал он, — светлого пути тебе. Не робей, живи по наказы учителя Дюйшена — и не пропадёшь. Что уж там говорить, мы тоже кое-что понимать стали.

Ученики из нашей школы долго бежали за брычкой¹ и долго махали мне вслед... Я уезжала вместе с несколькими ребятами, которых тоже отправляли в ташкентский детдом.

¹ Брычка — дётка повозка.

На станции нас ждала русская женщина в кожаной куртке.

Сколько раз потом проезжала я мимо этой пыльной тополями мадонной станции в горах! Мне кажется, что половину сердца своего я навсегда оставила там.

В сиреневом зыбком



спёте весеннего вечера было что-то такое грустное и щемящее, словно бы сами сумерки знали о нашем расставании. Дюйшен старался не показывать, как больно ему, как тяжело у него на душе, но я-то ведь знала: такая же боль горючим колом подкапывала у меня к горлу. Дюйшен пристально смотрел мне в глаза, руки его глядели мои молосы, моё лицо, даже пуговицы на моём плаще.

— Я бы тебя, Алтынай, никогда ни на шаг не отпустил от себя, — сказал он. — Но не имю права мешать тебе. Ты должна учиться. А ведь я не очень-то грамотен. Уезжай, так лучше будет... Может, ты станешь настоящим учителем и тогда вспомнишь нашу школу, может, и посмеёшься... Пусть будет так, пусть будет так...

Отлапная охом стационное ущелье, вдаль потудел паровоз, завиднелись огни поезда. Народ на станции зашевелился.

— Ну вот, сейчас ты уедешь, — дрогнувшим голосом проговорил Дюйшён, сжимая мою руку. — Будь счастлива, Алтынай, и главное — учись, учись...

Я ничего не могла ответить: слёзы душили меня.

— Не плачь, Алтынай. — Дюйшён вытер мне глаза. И вдруг вспомнил: — А те тополя, что мы с тобой посадили, я сам буду растить. И когда ты вернёшься большим человеком, ты увидишь, какие они будут красивые.

В это время подоспел поезд. Вагоны оставались с шумом и лязгом.

— Ну, давай попрощаемся! — Дюйшён обнял меня и крепко поцеловал в лоб. — Будь здорова, счастливого пути, прощай, родная... Не бойся, иди смелей.

Я прыгнула на подножку и обернулась через плечо. Никогда не забыть мне, как стоял Дюйшён с рукой на перевязи и смотрел на меня затуманенными глазами, а потом потянулся, словно хотел прикоснуться ко мне, и в эту минуту поезд тронулся.

— Прощай, Алтынай! Прощай, огонёк мой! — крикнул он.

— Прощайте, учитель! Прощайте, дорогой мой учитель!

Дюйшён побежал рядом с вагоном, потом отстал, потом вдруг рванулся и крикнул:

— Алты-на-ай!

Он крикнул так, будто забыл сказать мне

что-то очень важное и вспомнил, хотя и знал, что было уже поздно... До сих пор стоит у меня в ушах этот крик, исторгнутый из самого сердца, из самых глубин души...

Поезд миновал туннель, вышел напрямую и, набирая скорость, понёс меня по равнинам казахской степи к новой жизни... Прощай, учитель, прощай, мой первая школа, прощай, детство, прощай, мой первая, никому не высказанная любовь...

...Да, я училась в большом городе, о котором мечтал Дюйшён, в больших школах с большими окнами, о которых рассказывал он. Потом кончила рабфак, и меня послали в Москву — в институт.

Сколько трудностей пришлось мне испытать за долгие годы учёбы, сколько раз я была в отчаянии, казалось, нет, не осилю я премудростей науки, и всякий раз в самые тяжёлые минуты я мысленно держала ответ перед моим первым учителем и не смела отступать. То, что другим давалось сразу, я постигла с величайшим трудом. Потому что мне пришлось начинать всё с азбук.

Когда я училась на рабфаке, я написала учителю письмо и призналась, что люблю его и жду. Он не ответил. На том оборвалась наша переписка. Я думаю, что отказал он мне и себе потому, что не хотел мешать мне учиться. Может быть, он был прав... А может быть, были какие-нибудь причины? Сколько и перестрадала и передумала в ту пору...

Свою первую диссертацию я защитила в Москве. Для меня это было большо́й, серьёзной победой. За все эти годы я не смогла побывать в айле. А тут началась война. Поздней осенью, эвакуируясь из Москвы во Фрунзе, я сошла с поезда на той самой станции, с которой провожал меня мой учитель. Мне повезло: я сразу нашла попутную бричку, которая направлялась в совхоз через наш айл.

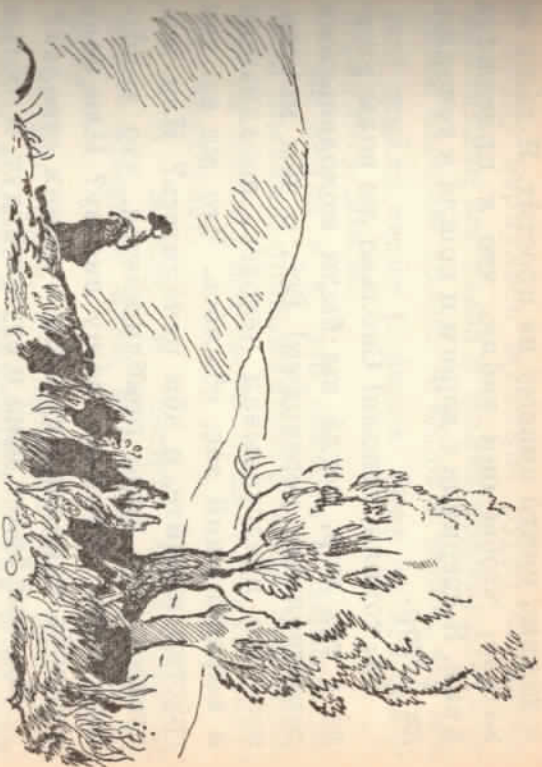
О родимая сторона, в тяжёлое для нас военное время пришлось мне навеститься к тебе. Как ни радовалась я, глядя на преображённую землю — выросли новые айлы, распаханно много полей, построены новые дороги и мосты, — но война омрачила эту встречу.

Приближаясь к айлу, я волновалась. Я всматривалась издали в новые, незнакомые улицы, в новые дома и сады, а потом глянула на тот бугор, где стояла наша школа, и дышанье у меня перехватило, — на бугре рядышком стояли два больших тополя. Они покачивались на ветру. И первый раз я назвала человека, которого всю жизнь называла «учителем», просто по имени.

— Дюйшен! — прошептала я. — Спасибо тебе, Дюйшен, за всё, что ты для меня сделал! Не забыл, значит, думал... Как это похоже на тебя...

Увидев слёзы на моём лице, паренёк-возница встревожился:

— Что с вами?



— Да так, ничего. Ты знаешь кого-нибудь из этого колхоза?

— Знаю, конечно. Все тут свои.

— А Дюйшена знаешь, ну тот, что учителем был?

— Дюйшена? Так ведь он в армию ушёл. И его сам из колхоза на этой бричке в военкомат отвозил.

У въезда в айл я попросила паренёка остановиться и сошла с брички. Сошла и пришла думалась. Идти сейчас по домам, в такое тревожное время искать знакомых, спрашивать, помните ли вы меня, я, мол, ваша землячка, я не решилась. А Дюйшен был уже в армии. И ещё: я поглядела никогда не бывать там, где живут мой тётка и дядя. Любям многое можно простить, но такое злодеяние,

я думаю, никто никому не простит. Я даже не хотела, чтобы они знали, что я приезжала в айл. Я свернула с дороги и пошла к тополям, на бугор.

Эх, тополя, тополя! Сколько же воды утекло с тех пор, когда вы были молоденькими сизостволыми деревьями! Всё, о чём мечтал, всё, что предсказывал человек, посадивший и вырастивший вас, сбылось. Что же вы так грустно шумите, о чём печальтесь? Или жалуетесь, что зима приближается, что холодные ветры обрывают вашу листву? Или боль и скорбь народная гуляют в ваших стволах? Да, ещё будет зима и стужи будут, и лютые бураны, но придёт и весна...

Я долго стояла, прислушиваясь к шуму осенней листвы. Арык у подножия деревьев был кем-то недавно расчищен: на земле ещё сохранились глубокие, почти свежие следы кетменя. Отстоявшаяся светлая вода в полном арыке чуть рабыла, и на ней колыхались желтые листья тополей.

С бугра мне была видна крашенная крыша новой школы, а нашей уже и в помине не было.

Потом я спустилась к дороге, встретила попутную бричку и поехала на станцию.

Была война, потом пришла победа. Сколько горького счастья привалило народу; детвора бегала в школу с полевыми сумками отцов,

к труду вернулись мужские руки; солдатики выплакали все глаза и молча примирились со своей вдовьей долей. А были и такие, что всё ещё ждали своих близких. Ведь не все сразу вернулись домой.

Не знала и я, что стало с Дюйшеном. Мой земляк, приезжавшие в город, говорили, что он пропал без вести, бумагу такую получил сельсовет.

— А может, и погиб,— предполагали они,— время-то идёт, а о нём ни слуху ни духу.

«Стало быть, не вернётся уж мой учитель,— думала я временами.— Так и не пришлось нам увидеться с того памятного дня, когда мы попрощались на станции...»

Вспоминая порой о прошлом, я и не подозревала, оказывается, сколько горя скопилось в душе моей.

В срок шестом году поздней осенью яехала в Томский университет в научную командировку. Ехала я по Сибири впервые. Сурова и мрачна была Сибирь в ту предзимнюю пору. Тёмной стеной проносились за окнами вековые леса. В перелёсках мелькали чёрные крыши деревень с белыми дымками из труб. На холодных полях оседал первый снег, летало над ними нахорхленное воронье. Небо постоянно хмурилось.

Но мне в поезде было весело. Сосед по купе — бывший фронтвик, инвалид на ко-
стылях — смешил нас забавными историями

и анекдотами из военной жизни. Я поража-лась неистощимости его выдумки, за просто-ватою которой и безобидным, казалось бы, смехом всегда ощущалась истинная правда. Он очень полюбился всем в вагоне. Так вот, где-то за Новосибирском наш поезд задержал-ся на минуту на каком-то маленьком разъезде. Я стояла у окна и, глядя на него, смеялась над очередной шуткой моего соседа.

Поезд двинулся, набирая ход: проплыл за окном одинокий станционный домик, и на стрелке я отпрянула от окна и снова приняла к стеклу. Там был он, Дюйшэн! Он стоял у будки с путёйским флажком в руке. Не знаю, что со мной произошло.

— Стойте! — крикнула я на весь вагон и кинулась к выходу, сама не зная, что делать, но тут увидела стоп-кран и с силой сорвала его с пломбы.

Спиблизь вагоны, поезд резко затормозил и так же резко отдал назад. С грохотом повалились вещи с полок, покатылась посуда, заголосили дети и женщины. Кто-то крикнул не своим голосом:

— Человек под поездом!

А я была уже на ступеньках, спрыгнула, не видя под собой земли, как в бездну, и, так же ничего не видя перед собой, ничего не понимая, пустилась бежать к будке стрелочника, к Дюйшэну. Сзади раздавались свистки кондукторов. Из вагонов выпрыгивали пасса-жеры и бежали за мной.

Одним духом промчалась я вдоль состава, а Дюйшэн бежал мне навстречу.

— Дюйшэн, учитель! — крикнула я, бросаюсь к нему.

Стрелочник приостановился, непонимающе глядя на меня. Это был он, Дюйшэн, его лицо, его глаза, только усы он прежде не носил и немного постарел.

— Что с вами, сестрица, что вы? — участливо спросил он по-казахски. — Вы, наверно, обознались, я стрелочник Джангазын, меня зовут Вейнеу.

— Вейнеу?

И не знаю, как я успела зажать рот, чтобы не закричать от гора, от боли, от стыда. Что я надела? Я закрыла лицо руками и опустила голову. Почему не развернулась земли под ногами? Мне надо было извиниться перед стрелочником, попросить прощения у народа, а я всё стояла и молчала, как камень. Толпа сбегавшихся пассажиров тоже почему-то молчала. Я ждала, что сейчас начнут кричать на меня, обругают. Но все молчали. И в этой жуткой тишине всхлинула какая-то женщина:

— Несчастная, мужа или брата признала, да не он оказался, ошиблась.

Люди зашевелились.

— И надо же быть такому, — пробасил кто-то.

— А чего не бывает, чего только не пережили мы в войну... — ответил срывающийся женский голос.

Стрелочник отнял мой руки от лица и сказал:

— Идёте, я провожу вас до вагона, холодно.

Он взял меня под руку. С другой стороны меня взял под руку какой-то офицер.

— Идёте, гражданка, мы всё понимаем,— сказал он.

Люди расступились, и меня повели, точно на похоронах. Мы медленно шли вперёд, а за нами все остальные. Встречные пассажиры тоже молча пристраивались к толпе. Кто-то накинул мне на плечи пуховый платок. Мой сосед по купе кивнул на своих костылях сбоку. Он чуть забежал вперёд, смотрел мне в лицо. Весельчак, балагур, добрый и мужественный человек, он почему-то шёл, обнажив голову, и, кажется, плакал. И я плакала. И в этом мерном шествии вдоль состава, в пошлосте и гудении ветра в телеграфных проводах мне слышались звуки похоронного марша. «Нет, не увижу я его никогда».

У вагона нас остановил начальник поезда. Он что-то кричал, грозил мне пальцем, говорил что-то о судебной ответственности, о штрафе. Но я ничего не отвечала. Мне было всё безразлично. Он сунул мне протокол, потребовал, чтобы я расписалась, но у меня не было сил взять в руки карандаш.

И тогда мой сосед по купе выхватил у него бумагу и, нагибаясь на него на своих костылях, закричал ему в лицо:

— Оставь её в покое! Я расписусь, это и сорвал стоп-кран, я буду отвечать!..

По сибирской земле, по исконно русскому краю спешил припопадавший поезд. Печально звенела в ночи гитара моего соседа. Как протяжную песню русских вдов, уносила я в своём сердце скорбный отголосок от встречи с отрёпавшей войной.

Шли годы. Уходило прошлое, вечно звало грядущее с его большими и малыми заботами. Замуж я вышла поздно. Но встретила хорошего человека. У нас дети, семья, живём мы дружно. Я теперь доктор философских наук. Часто приходится ездить. Побывала во многих странах... А вот в айле больше не была. На то были, конечно, причины, и много, но я не собираюсь оправдывать себя. То, что я порвала связь с земляками,— это плохо, непростительно. Но так уж сложилась судьба моя. Я не то что позабыла о былом, нет, я не могла этого забыть, я как-то отдалась от него.

Бывают такие родники в горах: проляжет новая дорога, тропа к ним забывается, всё реже заворачивают туда путники напиться воды, и родники понемногу зарастают мхом да ежевикой. А потом и не заметишь их со стороны. И редко кто вспомнит о таком роднике да свернёт к нему с большака в жаркий день, чтобы утолить жажду. Придёт человек, разыщет то заглохшее место, раздвинет заросли и тихо ахнет: давно никем не замутнённая прохладная вода необыкновенно чи-

стоты́ порази́т его́ своимъ спокойствіемъ и глу-
биной своей. И увидитъ онъ въ томъ родникѣ и
себя, и солнце, и небо, и горы... И подумаетъ тотъ
человекъ, что трехъ не знать такіе мѣста, надо
и товарищамъ рассказать объ этомъ. Подумаетъ
такъ и забудетъ до слѣдующаго раза.

Вотъ такъ иной разъ и въ жизни бываётъ.

Я вспомнила о такихъ родникахъ недавно,
после того как побывала въ айде.

Вы, конечно, недоумевали тогда, почему
я так неожиданно уѣхала из Куркуреу. Разве
нельзя было рассказать людямъ всё, что я сей-
час повѣдала вамъ, там, на мѣсте? Нет. Я была
такъ расстроена, мнѣ было такъ стыдно, я сты-
дилась самой себя, потому и решила сразу же
уѣхать. Я поняла, что не смогу встрѣтиться с
Дюйшенъ, не смогу посмотреть ему прямо
въ глаза. Мнѣ надо было успокоиться, собраться
съ мыслями, подумать въ пути обо всёмъ, что
я хотела бы сказать не только нашимъ земля-
камъ, но и многимъ другимъ людямъ.

Я чувствовала себя виноватой ещё и по-
тому, что не мнѣ надо было оказывать всѣ-
ческіе почести, не мнѣ надо было сидѣть на
почётномъ мѣсте при открытіи новой школы.
Такое право имѣлъ прежде всего нашъ первый
учитель, первый коммунистъ нашего айла —
старый Дюйшенъ. А получилъсь наоборотъ. Мы
сидѣли за праздничнымъ столомъ, а этотъ золотой
человекъ спешилъ развезти почту, спешилъ до-
стать къ открытію школы поздравительныя
телеграммы её бывшихъ выпускниковъ.

Ведь это не единственны́й случай. Я не разъ
это наблюдала. И потому я задаюсь такимъ
вопросомъ: когда мы утратили способность
по-настоящему уважать простого человека,
как уважалъ его Лѣнин?.. И слава богу, что мы
теперь о подобныхъ вещахъ без ханже-
ства и лицемерія. Очень хорошо, что мы и
въ этомъ ещё ближе подошли къ Лѣнину.

Молодёжь не знаетъ, какимъ учителемъ былъ
Дюйшенъ въ своё время. А среди старшего по-
колѣнія многихъ уже нѣтъ. Немало учениковъ
Дюйшена погибло на войнѣ, онъ были насто-
ящими советскими воинами. Я обязана была
повѣдать молодёжи о своёмъ учителе Дюйшенѣ.
Каждый на своёмъ мѣсте долженъ былъ это
сдѣлать. Но я не бывала въ айде, не знала
ничего о Дюйшенѣ, и со временемъ его образъ
превратился для меня словно бы въ дорожную
реликвию, хранимую въ музейной тиши.

Я ещё приеду къ своему учителю и буду
держаться передъ нимъ отвѣтъ. Попрошу прощё-
нія.

По возвращеніи изъ Москвы я хочу поѣхать
въ Куркуреу и предложить тамъ людямъ называть
новую школу-интернатъ «школой Дюйшена». Да,
именемъ этого простого колхозника, нынѣ
почтальона. Надѣюсь, что и вы, как землякъ,
поддержите моё предложеніе. Я прошу васъ объ
этомъ.

В Москвѣ сейчасъ второй часъ ночи. Я стою
на балконѣ гостиницы, смотрю на раздолбе-
женныхъ москвичскихъ огней и думаю о томъ, какъ приеду

в айл, встречаюсь с учителем и целую его в седую бороду...

*

Я открываю настежь окно. В комнату вливается поток свежего воздуха. В ясном свете голубоватом сумраке я всматриваюсь в эту ды и наброски начатой мною картины. Их много, я много раз начинал всё заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашёл ещё главного... Я хожу в предвечерней тиши и всё думаю, думаю! И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина — ещё только замысел.

И всё-таки я хочу поговорить с вами о своей ещё не написанной вещи. Хочу посоветоваться. Вы, конечно, догадываетесь, что картина мой будет посвящена первому учителю нашего айла, первому коммунисту — старому Дюйшену.

Но я ещё не представляю себе, сумею ли выразить красками эту сложную жизнь, исполненную борьбы, эти многообразные судьбы и страсти человеческие. Как сделать, чтобы не расплескать эту чашу, чтобы я сумел донести её до вас, мой современники, как сделать, чтобы мой замысел не просто дошёл до вас, а стал бы нашим общим творением?

Я не могу не написать эту картину, но только раздумий и тревог охватывает меня! Иной раз мне кажется, что у меня ничего не

получится. И тогда я думаю: зачем судьбе было угодно вложить мне в руки кисть? Что за мученическая жизнь! А другой раз я чувствую себя таким могучим, что горы свернуть готов. И тогда я думаю: смотри, изучай, отбирай. Напиши тополя Дюйшена и Алтынай, те самые тополя, которые доставили тебе в детстве столько отрядных мгновений, хотя ты и не знал их истории. Напиши босоногого загорелого мальчишку. Он взобрался высоко-высоко, и сидит на ветке тополя, и смотрит зачарованными глазами в невёдомую даль.

Или напиши картину и назови её «Первый учитель». Это может быть тот момент, когда Дюйшен переносит на руках ребятишек через реку, а мимо на сытых диких конях проезжают грумцы на диким тупые люди в красных лисах малахях...

А не то напиши, как учитель провожает Алтынай в город. Помнишь, как крикнул он в последний раз! Напиши такую картину, чтобы она, как крик Дюйшена, который до сих пор слышит Алтынай, отзывалась в сердце каждого человека.

Это я так говорю себе. Я много кое-чего говорю себе, да не всегда всё получается. И сейчас я не знаю, какую ещё напишу картину. Но зато я твердо знаю одно: я буду искать.

1962 год

26172-2

ЧИРЧИНСКАЯ

ЦБС

Литературно-художественное издание

Для восьмилетней школы

Айтматов Чингиз Торекулович

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Повесть

Отвественный редактор

Г. В. Куликова

Художественный редактор

А. В. Сапрыгина

Технический редактор

Е. В. Вутова

Корректоры

Л. А. Лапарева, А. П. Саркисян

ИБ № 10489

Стило в набор 14.12.87. Подписано к печати 20.09.88. Формат 84×108/32. Вум. книжно-журн. № 2. Шифр издательский. Печать высокая. Уел. печ. л. 404. Уел. кр. отт. 6,46. Уч.-изд. л. 338. Тираж 100 000 экз. Заказ № 7881. Изд. 40 к. Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательства «Детская литература» и Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр. М. Чернышевский пер., 1. Орден Трудового Красного Знамени ЦО «Детская книга». Росгизиздат-графома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Суворовский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Центрофот»

Айтматов Ч.

А36

Первый учитель: Повесть / Пер. с киргиз.; Рис. К. Везобородова. — М.: Дет. лит., 1988. — 93 с.: ил. — (Школьная б-ка для нерусских школ).

ISBN 5—08—000940—3

Широко известная повесть народного писателя Киргизии о комсомольце-адаптации годов, организовавшем первую школу в глухом киргизском анде.

А 4803010200—466

М101(03)-88

387—88

ББК 84 Кирг 7

К ЧИТАТЕЛЯМ

Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.